
ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. ОБРАЗОВАННОСТЬ В РОССИИ В ПЕРВЫЕ СЕМЬ ЛЕТ ЦАРСТВОВАНИЯ ЕЛИСАВЕТЫ. 1741-1748 гг.

Царствование, занимающее последнее десятилетие первой половины XVIII века и первое десятилетие второй половины, царствование Елисаветы представляет заметную перемену во внутренней жизни русского общества. Употребляя общепринятое выражение, историк имеет право сказать, что нравы смягчаются, к человеку начинают относиться с большим уважением и умственные интересы начинают находить более доступа в обществе, которое начинает чувствовать потребность высказаться, вследствие чего являются начатки литературы и попытки обработать, облагодзвучить орудие выражения пробивающейся мысли, язык. Эта перемена должна была произойти от разных причин: прежде всего от естественного роста, естественного развития русского общества по тому направлению, которое было усвоено в эпоху преобразования; каковы бы ни были препятствия, развитие должно было совершаться в сильном и живом народе; во-вторых, Россия, вошедшая в общую жизнь европейских народов, должна была подчиняться влияниям, среди них господствовавшим. Сильное литературное движение на западе, охватывавшее всю Европу при господстве французского языка, содействовало повсюду возбуждению вопросов о человеке и обществе, соседняя Германия почувствовала это влияние, почувствовала его и Россия; наконец, многое зависело от условий времени и в государстве самодержавном зависело от характера царствующего лица.

Описываемое время оставило по себе приятное воспоминание в народе, несмотря на то что за ним почти непосредственно следовало блестящее екатерининское время. Этому, разумеется, содействовало печальной памяти предшествовавшее царствование Анны, бироновщина и слабое, бестолковое правление Анны Леопольдовны, не дававшее обеспечения ни в чем. Елисавета подняла славное знамя отца своего и успокоила оскорбленное народное чувство ясным для всех стремлением неуклонно следовать главному и самому важному для народа правилу - нисколько не ослабляя связей с Западною Европою, давать первенствующее значение русским людям, в их руках держать судьбу государства. Восстановление учреждений Петра Великого в том виде, в каком он их оставил, постоянное стремление дать силу его указам, поступать в его духе сообщали известную твердость, правильность, систематичность действиям правительства, а подданным - уверенность и спокойствие, тем более что следование правилам и указам Петра не было рабским, мертвым подражанием чему-то отжившему или отживающему, ибо не являлось новых потребностей, которые бы вызывали новый дух и новые формы. Напротив, известная,

хотя и бессознательная, реакция, известные уклонения от духа и форм Петровых, сделанные с 1725 года, оказывались вовсе не бесполезными для государства. Становились на твердую почву, указавши, какому образцу будут следовать, а между тем это следование по стопам преобразователя было спокойное и легкое, чуждое волнений преобразования, как уже совершившегося. Правительство отличалось миролюбием, а между тем войны, им веденные, ознаменовались блестящими успехами. Это спокойствие, довольство, удовлетворение главным потребностям народным заслужило елисаветинскому времени приятную память, особенно по сравнению со временем предшествовавшим, чему много способствовал, как уже было сказано, характер императрицы, который выразился всего резче в том, что народ должен был отвыкнуть от ужасного зрелища смертной казни. Закона, уничтожавшего смертную казнь, не было издано: вероятно, Елисавета боялась увеличить число преступлений, отнявши страх последнего наказания; суды приговаривали к смерти, но приговоры эти не были приводимы в исполнение, и в народное воспитание вводилось великое начало.

Мы хорошо знаем препятствия правильному ходу народного воспитания в России в XVIII веке, и наше дело - следить по возможности, во сколько, откуда и в какой форме являлось противодействие этим препятствиям. Восточные дикари, вступавшие в русскую службу, продолжали разделяться друг с другом по своему старому обычаю. В 1744 году генерал-лейтенант грузинский царевич Бакар велел своим людям схватить служившего в астраханском гарнизоне капитаном грузинского же князя Назарова, бить и волочить его за ноги по улице. Бакара призвали в Сенат и объявили ему указ государыни, что ему не только в резиденции, но и нигде такой своевольной дерзости чинить не надлежало, и хотя он, царевич, по указам подлежит тягчайшему штрафу, но ее имп. в-ство из высочайшей милости указать соизволяет, чтоб он князя Назарова во всем удовольствовал немедленно, а если не удовольствует, то поступлено будет с ним по указам. В 1745 году прокурор Коммерц-коллегии Самарин представил в Сенат, что ассессор Красовский отказался подписать журнал, ибо в нем не сказано, как президент князь Юсупов в судейской ударил солдата по щеке, причем и сам Юсупов говорил, что солдата ударил. Государство нуждалось в деньгах, и явились люди, которые предложили средство добыть деньги. В начале 1748 года двое белгородских купцов, Ворожайкин и Турчанинов, донесли, что, несмотря на указы Петра Великого, многие носят бороды и русское платье, и просили, чтобы позволено им было таких преследовать, обещаясь доставить в казну на 1748 год более 50000 рублей от штрафов с бородачей. Но Сенат решил Ворожайкину и Турчанинову отказать, ибо смотреть за исполнением указов о бородах и русском платье поручено губернаторам, воеводам и Раскольничьей конторе.

В семейных отношениях даже в высших слоях общества сильно отзывалась иногда старина. В 1746 году жена экипажмейстера Конона Никитича

Зотова, Марья Прокофьевна, по смерти мужа осталась беременна и родила сына Конона; но после родин дворовые ее люди, мужчины и женщины, убежали из Петербурга в Москву к падчерицам ее Зотовым и подали челобитную, что вдова Зотова родила мертвую дочь, а мальчика принесли подставного, чтобы лишить падчериц наследства. По всему оказывается, что челобитье было ложное.

Вне дома правительство должно было вооружиться также против старого явления: в декабре 1743 года Сенат велел в Камер-контору подтвердить указом, чтоб в торговых банях мужчинам и женщинам париться вместе было запрещено, и смотреть за этим накрепко, а кто будет допускать, таких штрафовать безо всякой пощады. Подле старых бань условия новой жизни выставили *герберги*, или трактирные дома; в Петербурге было таких гербергов 25 с трактирами и постелями, столом, кофе, чаем, *чекулатом*, биллиардом, табаком курительным, виноградными винами и водками, заморским эльбиром и полпивом легким петербургского варенья, которое употребляется вместо квасу. В 1746 году Сенат дал указ: если кто из русских купцов пожелает содержать герберги с платежом акциза, то явились бы в Камер-контору. Кроме гербергов с их вином, кофе и чекулатом в Петербурге публика приглашалась еще к другим удовольствиям. В январе 1745 года в Ведомостях встречаем следующее объявление от 4 числа: "Сегодня пополудни в начале 6 часа в Морской, недалеко от Синего моста, начнут играть комедии с выпускными куклами, и она в каждой неделе по понедельникам, средам и пятницам продолжаться имеет". В августе другое объявление: "Сего месяца 5 числа начнется немецкая комедия и по вся дни впредь продолжаться будет". В Москве существовал также комедийный дом, сгоревший в 1748 году.

В других городах о подобных удовольствиях не упоминается, и, вероятно, эти вечерние удовольствия, если бы существовали здесь, нередко обходились бы дорого. Мы видели, что государство должно было вести постоянную борьбу с разбойниками, для которой надобились значительные военные средства. В городах мы слышали сильные жалобы на плохое состояние полиции, что позволяло даже в Москве совершаться грабежам в самых обширных размерах. Это печальное положение - с одной стороны, возмутительные грабежи, а с другой - недостаток средств для их преследования, безнаказанность грабителей - заставляло для сыску преступников употреблять людей из преступников же, которые, по-видимому, приносили пользу, предавая злодеев в руки правосудия, но эта польза перевешивалась вредом, происходившим от самих сыщиков, вовсе не забывавших старых привычек.

Представителем таких сыщиков был знаменитый Иван Каин. Иван был крепостной человек; с ранней молодости повадился он воровать, в кабаке подружился с опытным уже мошенником, который уговорил его бежать, что Каин и сделал, покравши господина. В священническом платье, также украденном, он прошел мимо рогаточных сторожей и приведен был своим

руководителем в притон мошенников, собиравшихся у Каменного моста. Новые товарищи приветствовали Каина словами: "Поживи здесь в нашем доме, в котором всего довольно: наготы и босоты изнавешены мосты, а голоду и холоду анбары стоят; пыль да копоть, притом нечего и лопать". На другое же утро неопытный беглец, вышедший днем погулять по Китаю-городу, был схвачен и возвращен господину, который, по тогдашнему обычаю, вместо собаки держал на дворе на цепи медведя. Беглеца приковали к медведю, не велели кормить два дня и потом высечь. Каин избавился от последнего наказания доносом на господина, закричавши "слово и дело". Выпущенный на волю из Тайной канцелярии за основательный донос, он пристал к уже знакомой шайке от Каменного моста. Промышлял Каин не в одной Москве, ездил и на Макарьевскую ярмарку обворовывать армянских купцов. Он искал все более широкой деятельности и пристал к большой разбойничьей шайке, состоявшей из 70 человек и бывшей под начальством атамана Зори. Это была одна из тех страшных шаек, известия о подвигах которой мы уже встречали в жалобных донесениях из приволжских и приокских областей в Сенат. Шайка разбила большой винный завод, село, в другом селе на реке Суре отдыхала, жила "в смирном образе" месяца с три; покинув "смирный образ", разграбила армянское судно. Узнавши о сильной погоне за собою, разбойники отняли у татар лошадей и отправились к монастырю Боголюбову подле Владимира, откуда Каин поехал в Москву для приискания квартиры.

По природе и воспитанию Каин не был отважным волжским разбойником, был столичный мошенник, и потому, естественно, пришла ему мысль заняться другим ремеслом, побезопаснее. В конце 1741 года он явился в Сыскной приказ и подал челобитную, в которой приносил повинную богу и ее импер. в-ству, что, "будучи на Москве и в прочих городах, мошенничал денно и ночью, в церквах и разных местах, у всякого звания людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и прочее вынимал; а ныне от того прегрешения престал, а товарищи мои не только что мошенничают, но ездят по улицам и грабят, которых я желаю ныне искоренить, и дабы высочайшим указом для сыску и поимки означенных моих товарищей дать конвой". В приложенном реестре Каин написал имена 32 своих товарищей. Каину дали конвой, 14 человек солдат и подьячего, и в одну ночь он захватил всех означенных товарищей своих в Зарядье.

С этих пор "доноситель Иван Каин" ежедневно ходил с солдатами по публичным местам и ловил мошенников; в два года он сыскал 298 человек воров, становщиков, беглых солдат. Между тем он женился достойным образом: обговорил, застрашал пытками, подвел под кнут солдатскую вдову, которая не хотела было выходить замуж за мошенника; из-под кнута он взял ее на поруки и повел в церковь. У Каина был свой дом - полная чаша; наполнял он эту чашу таким образом: он составил себе шайку из опытных воров и с ними ловил других, причем пойманных приводил

прежде к себе и страхом Сыскного приказа заставлял откупаться; промышлял также игрою и фальшивыми деньгами и, чтоб обезопасить себя от доносов, объявил в Сенате, что он в поимке воров и разбойников проводит чрез таких же воров и с ними принужден знаться, почему имеет опасение, что когда эти злодеи, будучи пойманы, будут на него показывать, то не подвергся бы он какому истязанию. Сенаторы уверили его, что никакому показанию на него не будет дана вера и что он будет за свою службу награжден, если только не будет заодно действовать с преступниками и привлекать невинных. Но Каин не мог выполнить этих условий: он являлся к богатым раскольникам, забирал у них детей и заставлял отцов выкупать их; захватил у одного богатого крестьянина племянницу под предлогом, что она была раскольница, плетью заставлял ее признаться в расколе и оговорить дядю, потом освободил за 20 рублей.

Но это не прошло ему даром: по доносу в Тайную контору он был арестован, бит плетьюми нещадно и "хотя подлежал жесточайшему наказанию кнутом и дальней ссылке, однако освобожден, дабы впредь в сыске разбойников и воров имел крепкое старание, только отдан под надзор". Но ему трудно было переменить свое поведение, потому что трудно было отказаться от доходов. Он подговорил товарища среди белого дня на Москве-реке разграбить струг богатого купца. Наконец он попался, увезши дочь у солдата; отец пожаловался полиции, а на беду Каина тогда приехал сам генерал-полицеймейстер Татищев в Москву по поводу прибытия туда императрицы в 1749 году. Каин принужден был рассказать Татищеву подробно все свои похождения, и вследствие этого рассказа генерал-полицеймейстер донес императрице, что по делу Каина надобно нарядить особую комиссию, ибо в его сообщничестве были секретари и другие чиновники Сыскного приказа, полиции, Раскольничьей комиссии и Сенатской конторы. Каин был приговорен к смертной казни; но смертные приговоры не приводились в исполнение: его наказали кнутом и сослали в тяжкую работу.

Безнравственные явления прекращались правительственною властью; если не топор палача, как прежде, то ссылка освобождала общество от Ваньки Каина с товарищи. Взглянем теперь на состояние церкви и школы, какие у них были средства освобождения общества от безнравственных явлений. Число священников, получивших школьное образование, увеличивалось, но недостаточно; и это недостаточное количество ученых священников, необходимо имевших преимущество пред неучеными, должно было ограничивать право прихода избирать себе священника: Синод требовал, чтоб к лучшим церквам определялись окончившие школьный курс, вследствие чего местные власти распорядились, чтоб на упраздненные места не обученных в школах не представлять и заручных прошений о них не собирать, а требовать ученых; таким образом, епархиальное начальство стало указывать достойных кандидатов, ибо оно одно знало, кто учен и кто неучен, кого следует определить на лучшее место и кого на худшее. От этого столкновения прав епархиального начальства и прихода происходили

следующие случаи: студент Московской академии Некрасов по приказанию своего архиепископа Платона (Малиновского) отправился в церковь Спаса в Наливках, куда хотел поступить в дьяконы, чтоб взять себе заручную от прихожан; но священник церкви объявил ему, что прихожанин купец Азбукин, который имеет старание о церкви, склонил всех других прихожан и его, священника, дать заручную одному дьячку-горлану. Некрасов, однако, не отстал от своего намерения, и когда священник сказал Азбукину, что студент богословия хочет к ним в дьяконы, то Азбукин отвечал: "Я плюю на богословию, и что нам есть от богословии?" Через несколько дней Некрасов Опять пришел в церковь и стал на клирос, но Азбукин согнал его с клироса, и он ушел в алтарь; а когда после обедни священник начал говорить прихожанам, что Некрасов - человек хороший и Синод по указу Петра I определяет ученых людей на священнические и дьяконские места, то Азбукин и его приятели стали кричать, что им школьников отнюдь не надобно, пусть школьники идут в села и учат там деревенских мужиков, а московские жители до них еще переучены, да и лучше их, и если школьник вперед придет в их церковь, то они определили - метлой его выгнать. Архиепископ Платон велел вызвать Азбукина в консисторию и, объявив ему регламент духовный о студентах, допросить: "Для чего он противится именному указу государеву и для чего мужик простой, бесстыдный в церковное наше дело вступает?" Азбукин объявил, что без воли Главного магистрата в консисторию не пойдет; потом одумался и подал архиерею донесение, в котором заперся в своих словах о школьниках. Архиерей велел ему объявить с подпискою указ Петра I о студентах; Азбукин подписался, и Некрасов попал в дьяконы к Спасу в Наливки.

Для введения образования среди духовенства необходимым средством был признан вызов ученых монахов из Малороссии на архиерейские кафедры в Великой России. Необходимость продолжалась и после Петра Великого; но мы видели темную сторону этого явления; на архиереев смотрели враждебно, как на чужих, втершихся и оттеснивших великороссиян; их упрекали, что они благоприятствуют только своим, наполняют значительнейшие места малороссиянами же. Неудовольствие было сильное и простиралось не только на лица, но и на дело, для которого были призваны лица, на школы; вместо того чтобы спешить сравняться с малороссиянами в образовании и таким образом сделать последних ненужными, оказывали нерасположение к тому, чем были малороссияне выше их, - к науке, к школе, притом же смотрели на школу как на учреждение, которое дорого стоит, уменьшает доходы архиерейские. Мы видели уже гонение на школу и учителей в Казани, воздвигнутое архиереем из великороссиян. Печальное явление не было единственным. Архангельский архиерей Варсонофий говорил о большой, хорошо выстроенной школе: "Чего ради такая не по здешней епархии школа построена? Да и школам в здешней скудной епархии быть не надлежит; к школам охоту имели бывшие здесь архиереи-черкасишки, ни к чему негодницы". Экзаменатора Венедикта Галецкого Синод велел произвести в

архимандриты в Антониев-Сийский монастырь; но Варсонофий из ненависти к нему, как малороссиянину, не произвел его в архимандриты и пищу давал очень скудную, напитков ничего не давал и в келью к себе редко допускал. Галецкий, не вынесши такого обращения, уехал, а Варсонофий обрадовался и говорил: "Слава богу, черкашенина отсюда избыли!" Неохотник до школы отличался грубостью и жестокостью. В 1742 году в Архангельске на святой неделе, 17 апреля, в праздник св. Зосимы Соловецкого, архиерей служил обедню, а пред церковью против алтаря стояли босые на снегу соборные протопоп со священниками и дьяконами за то, что не служили накануне всенощной. Приехав в Николаевский корельский монастырь и подгулявши, неизвестно за что жестоко прибил своими руками соборного ключаря и велел водить вокруг монастыря на цепи в жестокий мороз; ставил в священники людей моложе двадцати лет, волочил ставленниками, брал с них взятки.

Архиереи, заботливые о школах, встречали препятствие к их заведению в недостатке денег, действительном или мнимом. В 1748 году тобольский митрополит Антоний просил Синод, и Синод представил в Сенат, чтоб в Тобольске при архиерейском доме учредить славяно-латинского учения семинарию для двухсот студентов, с тем чтоб студентов, учителей и проповедника по примеру Московской славяно-греко-латинской академии содержать из казны императорской, кроме учеников и учителя русской школы, которые по силе духовного регламента должны быть содержаны - ученики на собираемую с знатнейших монастырей двадцатую часть хлеба и на готовых книгах архиерейских, а учитель - на домовом архиерейском коште. Антоний указывал, где взять деньги на новый расход: собираемые в Тобольской епархии с вечных памятей на содержание лазаретов деньги (которых в сборе бывает до 500 рублей в год) определить на новую семинарию, ибо на содержание гошпиталей после 1714 года сверх денег, собираемых с вечных памятей, изобретены и другие немалые сборы, а именно вычеты за повышение рангов месячного жалованья, вычеты при выдаче жалования у всех служащих по копейке с рубля, с неисповедующихся всяких чинов людей положенные штрафы. Если с вечных памятей сумма определится на семинарию, то она пойдет на платье и обувь студентам и на жалованье учителям и проповеднику, а кормовые деньги пусть велено будет производить против студентов Московской академии вполовину, т. е. по 1 1/2 копейки каждому на день из неокладных доходов Сибирской губернии, а хлебом их Синод определит довольствоваться из архиерейских житниц, также и о снабжении семинарии библиотекою Синод промыслит. На это представление Сенат отвечал: на содержание семинарии доходов определить нельзя по причине многочисленных расходов, уделить не из чего, и потому св. Синод благоволил бы определить из доходов своего ведомства, ибо, как уповательно, при домах архиерейских, и монастырях, и в канцелярии экономического правления за расходами денежной казны и хлеба остается немалая сумма.

В Тобольске хотели заводить славяно-латинскую семинарию, а между тем в Москве было не более 40 ученых священников и дьяконов, включая сюда и не кончивших академического курса. Цель их учения было наставление прихожан, но на допрос консистории, кто сколько в год говорил проповедей, некоторые отозвались, что проповедей своего сочинения не говорили за неимением нужной для того библиотеки, чтоб без справки с книгами "вместо пшеницы правого учения не сказать плевел мерзкие ереси". Обучавшиеся в риторике объявляли, что и сложить проповеди не могут; некоторые показывали, что не говорили проповедей, потому что еще продолжают учиться в Академии. Пред поставлением в священники архиерей отсылал кандидата в школу или к экзаменатору, который преподавал ему нужное учение по букварю и по особо изданной тетрадке, а потом писал аттестат: "Такой-то силу символа православной веры, десяти заповедей божиих и церковных, седми таинств церковных, добродетелей богословских и евангельских, и советов о гресех и всего надлежащего до катехизиса изустно сказал". Несмотря на то, ученые архиереи объявляли, что в их епархиях духовенство, в давних и недавних летах произведенное, надлежащего по его должности учения ничего не знает, узнанное у экзаменатора после посвящения совсем забывает, умышленно не прилагая никакого рдения для удержания того в памяти, а некоторые, произведенные в давних летах, никогда ничему и не учились.

Теперь посмотрим, чему и как в школах учились, и начнем со старой московской школы - Славяно-латинской академии.

Здесь явно стремились к тому, чтобы учителями были постоянно одни монахи. В 1744 году в Академии был только один светский учитель Кондаков, и то в низших классах, но и относительно его по представлению ректора последовало такое определение Синода: "Кондакова из учителей, понеже он монашеского чина поныне не приемлет, исключив, ни к каким школам не определять". По штату 1745 года на Академию выдавалось ежегодно 4450 рублей; ректор получал 300 рублей жалованья, учителя - по 150 рублей; старшие ученики получали по 4, младшие - по 3 копейки в день; учеников, не получавших жалованья, было очень немного. Духовный регламент требовал, "чтоб при школах быть библиотеке довольной, ибо без библиотеки, как без души, Академия". Несмотря на то, на библиотеку денег не выдавалось, учителя и ученики пользовались книгами синодальной и типографской библиотек, академическая же библиотека наполнялась с течением времени книгами, оставшимися после умерших архиереев и архимандритов. Академию составляли ректор, префект, или инспектор, и от 6 до 7 учителей. Префект по регламенту должен быть "не весьма свирепый и не меланхолик". Низший, или приготовительный, класс носил название славяно-русской школы; в ней учили азбуке, часослову, псалтырю и письму, учил студент высших классов, которому за то давалось двойное студенческое жалованье. За славяно-русскою школою следовало *фара*, где учили читать и писать по-латыни, за фарою - *инфима*, где преподавали первые грамматические правила славяно-русского и латинского языков,

также историю и географию, катехизис и арифметику. Затем следовали синтаксиса, риторика, философия и богословие. В преподавании богословия господствовала схоластика, занимались решением, например, таких вопросов: где сотворены ангелы? могут ли они приводить в движение себя и другие тела? как они мыслят и понимают - посредством соединения, различения или как-нибудь иначе? каким образом они сообщают друг другу свои мысли? как велико по объему место, которое может занимать ангел? в чем состоит сущность света славы в жизни будущей? и т. п. В богословие входила глава о договорах, и здесь говорилось о договорах с дьяволом, о колдунах, которые могут переставлять с места на место целые поля, обращаться в невидимок:

Феофан Прокопович восстал против схоластики, которая, по его словам, занимала учеников пустыми спорами, поселяла в них ложную уверенность в приобретении мудрости, делала из науки комедию; несмотря на то, новое направление, указанное Феофаном, начало пробиваться в Московской академии только в сороковых годах благодаря особенно богословскому преподаванию ректора Кирилла Флоринского (умершего в 1743 году). Профессор философии преподавал физику, метафизику, психологию и метеорологию; в психологии после главы о душе следовал трактат о волосах, где решались вопросы: отчего у стариков выпадают волосы, отчего у женщин не растет борода? и т. п. Физика оканчивалась уранографией, где решались вопросы о числе небес, жидкости неба, о движении небес, о расстоянии неба от земли и, между прочим, вопрос, росла ли в раю роза без шипов. Целью преподавания риторики было заставить ученика выражаться как можно высокопарнее, вычурнее, как можно более разниться в своей речи от речи простой, разговорной. Вот образец риторического упражнения в описываемое время. Предмет сочинения: цари мудрые и воинственные одинаково знамениты:

"Еще доселе Фемида на своих не ложных весех сей не объяви правды, яко едали кровавой Беллоны или премудрые Паллады славнейшие суть дела и вящие у мира приобретают ли славы, и во правду яко где-либо Марс язвонным своим поорет железом, где-либо мужественная Беллона изобильную воинства своего кровь истощит, всегда тамо, аще бо бы были и алпейские каменя, неувядаемые победителей процветут лавры; обаче весь свет исповести нужду имать, яко и Паллада подобная паче является Беллоне, яко во славе, тако и в победоносиях. Не всегда бо по истощении кровен моря к блаженному торжеству и блаженные славы пристанищу Марс свой корабль препровождает, но безопаснее седше у кормила Палладова корабля и без малейших обуревания страстей намеренного туллиановыми волнами достигает брега, неутолимое восклицая веселье: се совершенно ладия приста ко брегу".

Так медленно и с такими уклонениями приобретались средства. указанные преобразователем русскому духовенству для его поднятия согласно с новыми условиями быта. Но мы видели, что Петр обратил внимание и на

материальные средства белого духовенства, и на отстранение тех затруднений, которые мешали правильности занятия духовных мест. Мы видели, что Петр освободил духовенство от обязанности покупать и поддерживать дома; но в царствование троих первых его преемников указ его совершенно потерял силу; в Москве на места были определяемы только те, которые давали большую цену за дома своих предместников. Только второй архиерей Московской епархии, Платон Малиновский, счел своею обязанностью требовать исполнения петровского указа. Тот же архиепископ старался и об исполнении другого указа Петрова, чтоб количество священнослужителей соответствовало средствам прихода, чтоб духовенство, таким образом, получало обеспеченное содержание. Несмотря на строгие меры против безместных священников, нанимавшихся на площадях или крестцах отправлять церковные службы, этот наем продолжался. Консистория посылала на крестцы забирать священников, их наказывали плетьюми, но они все не переставали ходить на крестец. Грубости нравов соответствовали жестокие наказания, наказывали плетьюми за пьянство и буйство, наказывали плетьюми даже монахинь, сажали на тяжелые цепи; но скоро мы услышим, как лучшие люди станут вооружаться против жестокости наказаний, употреблявшихся в монастырях.

От учителей церковных перейдем к светским. Мы видели состояние высшего учено-учебного учреждения, Академии Наук, или, по тогдашнему, Десьянс-Академии, в первое время ее существования, видели, что очень скоро возникает в ней борьба между лучшими академиками и библиотекарем Шумахером, который, умея находить поддержку во всех президентах, забрал власть в свои руки. Бреверн оставил президентское место, и Шумахер управлял делами Академии как советник канцелярии. Лучшие ученые оставили Академию и Россию. Молодой Миллер, обещавший неутомимого труженика, хотя не оставил России, но принужден был бежать от Шумахера в Сибирь, в Камчатскую экспедицию. По удалении лучших немцев главным врагом Шумахера оставался француз Делиль, попытка которого побороться с могущественным библиотекарем не имела никакого успеха. Делиль, однако, остался в Петербурге и дождался воцарения Елисаветы. Его одноземец Шетарди хлопотал о возведении на престол дочери Петра Великого, чтоб этим возведением низложить поднявшихся при Анне немцев, которым приписывал участие России в делах Европы. Понятно, что, когда Шетарди считал себя вправе думать о близком исполнении своих желаний, когда Остерман, Миних и Левенвольд отправились в ссылку, француз Делиль не хотел терять времени и выступил в поход против Шумахера и немцев, разумеется, под знаменем науки и России. В январе 1742 года он подал в Сенат донесение, в котором обвинял Шумахера в обременении Академии разными учреждениями по части искусств и ремесл, в искажении, таким образом, характера Академии и лишении ее необходимых средств; русский народ немало потерпел от этого, русских не старались обучать и двигать в науках, употребляли и повышали одних почти немцев, которые немного принесли

пользы государству; профессора не имеют возможности управлять Академиею по намерению Петра Великого.

Француз доносит на немца, что тот поступал против русских интересов, а что же русские? Мы видели, что русских, которые бы имели важное ученое значение, занимали профессорские места, в Академии не было. Ададуров был только адъюнктом; Тредьяковский числился секретарем и потому должен был держать себя в стороне, когда профессора ссорились с Шумахером и президентами. Был в Академии один значительный человек из русских, известный токарь Петра Великого Андрей Константинович Нартов, которого сведения в механике, как видно, очень уважались современниками; в конце царствования Анны он определен был в Академию к инструментальным делам, учреждена особая механическая экспедиция. Нартов сделан вторым советником академической канцелярии и столкнулся с Шумахером, который видел в нем лишнего и мешавшего ему человека.

Нартов слышал от своих русских, мелких людей в Академии, переводчиков, студентов; приказных и мастеровых сильные жалобы на дурное обращение с ними Шумахера, на его своеволие, казнокрадство и решился выступить в поход в союзе с Делилем. Время было самое благоприятное: немцы попадали сверху, на престоле была дочь Петра Великого, знавшая хорошо Нартова как близкого человека к отцу. 2 августа 1742 года, когда двор и Сенат были в Москве, Сенатская контора в Петербурге получила от советника Академии Наук Андрея Нартова представление, что он подал в Сенат проекты "при экспедиции лабораторий механических и инструментальных наук, главной артиллерии и о прочих высочайших, государственных дел для пользы отечества и интересов ее импер. величества денежной казны поданы от него в прав. Сенат проекты и. требовал, чтоб его для исходатайствования по оным резолюции, також и для объявления в Москве ко артиллерии секретных дел отпустить и по отбытии его порученные ему дела исправлять имеющемуся при той же Академии профессору Делилю". Нартова отпустили, к чрезвычайной досаде Шумахера, который уже проведал, что Делиль и Нартов жаловались на него Сенату. Он писал Штелину в Москву: "Г. советник Нартов получил из Сенатской конторы паспорт на проезд в Москву, конечно, для подтверждения поданных Делилем пунктов и своих собственных клевет. Я не обращаю на то внимания, потому что у меня совесть чиста. Делиль уже более двух лет не имеет сношений с Академией, а теперь Сенатская контора по представлению Нартова без ведома Академии передала этому Делилю экспедицию инструментальных и лабораторных наук - так титулуется теперь инструментальная мастерская! Это позор!"

Нартов взял с собою в Москву донос на Шумахера академических служителей - комиссара Камера, канцеляриста Грекова, копииста Носова; кроме них послали донос на того же Шумахера студенты Пухорт,

Шишкарев и Коврин, ученик гравера Поляков, переводчики Горлицкий и Попов. Переводчик Горлицкий писал Нартову в Москву: "Что же о нас, благодатию божиею до сего числа здравы пребываем, ожидая тщением вашим милости всещедрого бога чрез помазанницу его получить, а супостатов ходатайством пресв. богородицы и всех святых под ноги верных рабов и сынов российских покорить дай боже".

Сначала успех соответствовал ожиданиям: императрица назначила следственную комиссию над Шумахером и его сообщниками, вследствие чего Шумахер был арестован. Все академические дела поручены были Нартову, который стал заботиться о том, чтоб как-нибудь вывести Академию из ее печального положения. В марте 1743 года он жаловался в Сенат, что Штатс-контора вместо 24912 рублей выдала только 10000 рублей, отговариваясь отсутствием денег в рентерее, тогда как вся Академия и за прошлый 42 год жалованья не получила. При этом Нартов заявлял, что Академия не может пробыть более без президента и без утверждения штата, составленного еще в 1735 году и не подтвержденного; также, что Академия сама долгов своих заплатить не может. Сенат приказал отпустить всю сумму немедленно и всегда отпускать сполна в начале года. 27 июня того же года Нартов от имени Академии подал доношение в Кабинет, жаловался на долги и недостатки Академии, выставляя главною причиною их то, что в Академии два учреждения - Академия Наук и Академия Художеств и вторая истощает первую. При этом Нартов доносил, что канцелярия отрешила излишних и вопреки указам пенсии и двойное жалованье получающих неподобных людей, т. е. танцмейстера, также беспашпортных и тому подобных служителей. Из гимназии отрешила трех немецких учителей: первый из них, Миллер, родной брат профессору Академии Миллеру, почти всегда больным сказывался; он и другой учитель, Герман, русского языка вовсе не знают и потому больше учили иноземческих детей, а русские дети почти напрасно к ним в гимназию и ходили, ибо Герман и Миллер недели по две и по три туда не являлись, но учили на дому за деньги, а вместо них один только информатор Фишер в гимназии учил, да и тот русского языка почти ничего не знает, к тому же глух и плохо видит. На место отрешенных Академия имеет русских людей, а именно Василия Тредьяковского и Ивана Горлицкого, которые в гимназии могут обучать русских детей грамматическим порядком латинскому и французскому языкам, а для немецкого языка, будет определен переводчик Гронинг, который не только в немецком, но и во французском и в русском языках очень силен. А в гимназии главное дело, чтоб русской нации дети грамматическим порядком на всех языках учились, без чего, право, писать и говорить не могут; сверх того, может над гимназию смотрение иметь адъюнкт Ломоносов и другие. Нартов спрашивал, не угодно ли будет в Академии для каждой науки оставить по одному профессору и по одному адъюнкту; почетным членам, пребывающим в иностранных землях, пенсии не давать; художественные департаменты убавить, ибо никакого плода Российскому государству не приносят.

От Академии представлен был длинный список учреждений и лиц, должных ей за напечатание указов и забранные книги: на самом Сенате числилось 6501 рубль, на бывшем Кабинете - 75, на Синоде - 577, на императорском дворе за забранные книги, комедии и прочие вещи - 813, на принцессе Анне - 260, на принце Антоне - 135, на бароне Менгдене - 270, на Брюммере - 102. Особенно значительные суммы числились на бывших президентах: на Блюментросте за книги - 179, да чистыми деньгами взял 5061 рубль, на Кейзерлинге - 217, на Корфе - 4339, на Бреверне - 355; на всех учреждениях и лицах числилось 32203 рубля. В сентябре 1743 года Нартов подал просьбу Елисавете, что императрица Анна в разные годы пожаловала Академии 110000 рублей, а по ее кончине до сего времени никакой дачи не было, отчего Академия пришла в совершенную нищету, и все ее служители не только за этот 1743 год, но и за несколько месяцев прошлого 1742 заслуженного жалованья не получали, и как профессора, так и все служители с женами и детьми, дневной пищи лишаясь, голодом тают, а мастеровые и художники просят увольнения в другие места.

Чтоб побудить к скорейшему отделению от Академии художественных департаментов, Нартов подал в Сенат доношение, где говорилось: "В прошлом 1742 году подан был от меня его импер. величеству письменный проект об учреждении Академии Художеств, который и соизволил его императ. величество за благо принять и собственною своею рукою расписание Академии Художеств по классам написал, по которому намерение имел определить на содержание помянутой Академии Художеств денежную сумму сверх Академии Наук под надзиранием особого директора". В собственноручном расписании Петра Великого было означено: I класс: 1) мастер архитектуры цивилис; 2) мастер механики всяких мельниц и слюзов; 3) мастер живописных всяких дел; 4) мастер скульпторных всяких дел; 5) мастер грядорованных всяких дел. II класс: 6) мастер иконных дел; 7) мастер штыхованных всяких дел; 8) мастер тушеванных дел; 9) мастер граверных дел, который отправляет шпейтели. III класс: 10) мастер оптических дел; 11) мастер фонтанных дел, что надлежит до гидролики; 12) мастер токарных дел, что надлежит до токарных машин; 13) мастер математических инструментов; 14) мастер лекарских инструментов; 15) мастер слесарских дел железных инструментов. IV класс: 16) мастер плотнических дел, что надлежит до спицов; 17) мастер столярных дел; 18) мастер замочных дел; 19) мастер типографических дел; 20) мастер обронных медных дел; 21) мастер литейных медных дел; 22) мастер оловянных всяких дел; 23) мастер медных мелких гарнитурных дел; 24) мастер серебряных всяких дел. Всего мастеров 24 человека, учеников - 240 человек, покоев академических - 115. Петр велел архитектору Земцову сделать чертеж здания Академии Художеств.

Наконец, Нартов вошел с жалобой, что учрежденное в 1734 году Российское собрание разрушилось.

Все эти движения со стороны Нартова показывают в нем человека добросовестного, хотевшего принести возможную пользу Академии и не позволяют нам легко отнестись к этому токарю, повторять об нем отзывы людей, явно ему враждебных. Предположение, что он мог иметь хорошего советника в человеке более даровитом, только может увеличить его заслугу. К сожалению, Нартов не мог оставаться долго на своем месте и спокойно отдаться заботам об Академии, потому что дело по жалобам на Шумахера с самого начала приняло неблагоприятный для него и союзников его характер. Исследование дела было поручено особой комиссией, которая состояла из петербургского коменданта генерала Игнатьева и президента Коммерц-коллегии князя Юсупова под председательством адмирала Головина. Почему-то главным деятелем в комиссии явился князь Юсупов, что не обещало хорошего исхода для жалобщиков. Мы уже не раз встречались с этим Юсуповым, слышали жалобы вице-президента Коммерц-коллегии на его нападки и ругательства, слышали прокурорское извещение, как тот же Юсупов в присутствии ударил солдата по щеке. Пред такого-то господина являются теперь несколько мелких, ничтожных людей, которые осмеливаются обвинять своего начальника: да это неслыханное дело, это просто бунт, вроде недавнего нападения в Петербурге на святой под качелями на немецких офицеров или недавнего же бунта солдат в финляндской армии; эти явления надобно прекращать как можно скорее арестами, плетями и ссылками. Не говорим уже о том, что со стороны Шумахера и его друзей были употреблены все средства, чтоб в глазах людей сильных представить это дело именно таким образом. Еще прежде разразившейся над ними бури Шумахер успел заискать расположение Лестока, Черкасова, гофмаршала Миниха, Воронцова; есть известие, что к Юсупову писал за Шумахера какой-то сильный тогда при дворе человек иностранный. Жалоба на Шумахера была, собственно, жалоба на бывших президентов Академии, а эти президенты, именно двое последних, Корф и Бреверн, были люди сильные, пользовавшиеся большим уважением; обвинить Шумахера значило обвинить их. И в каких злоупотреблениях обвинялся Шумахер? В том, что он был любезный, услужливый человек, не спрашивал денег с тех, кто забирал книги в Академии? В упомянутом списке лиц, должных Академии за забранные книги, находим имена двоих членов комиссии - Головина, на котором числилось 97 рублей, и Игнатьева, на котором числилось 5 рублей.

С другой стороны, характер обвинений против Шумахера был такой, что ему легко было оправдаться. В обвинениях выразилось самым сильным образом долго подавляемое оскорбленное национальное чувство, как оно высказывалось в одах и проповедях, но в одах и проповедях оно высказывалось по поводу падших, осужденных Бирона и Остермана с товарищами; тогда как обвинители Шумахера, высказывая свою вражду, забыли, что имеют дело не с сибирскими и ярославскими заточниками, а с людьми сильными, забыли, что они будут обязаны вести дело юридически, доказывать каждую выходку свою, каждое слово. Шумахер обвинялся в

том, что от его злого умышленного беспорядка сущее бесславление, поношение, уничтожение и иссякновение наук и вместо пользы вред происходит, что в 18 лет ни одного профессора из русских нет и что отсюда явно Шумахерово на Россию скрежетание. Шумахеру легко было оправдаться, указавши, что он был человек подначальный, исполнял волю президентов, а с другой стороны, дело научное было не в его руках, а в руках профессоров. Таким образом, он защищался именами президентов, тем более что в обвинениях была выходка и против них. Горлицкий писал: "Ежели бы (по проекту Петра В.) директор и два его товарища были российского народа, православные и добросовестные, то бы сии три человека не допустили до таких его злоковарных и вредных отечеству нашему умышлений; к тому же президент вельми ученый и не супостат был бы православию, понеже таковые люди не верны, да и разнствие закона по нужде друг другу противиться понуждает". Шумахер отвечал, что президенты были определены по именным указам, люди искусные и науки знающие, которые и ныне обретаются в службе ее величества: Блюментрост в Москве при медицинских делах, Кейзерлинг при польском дворе, Корф при датском министрами, а Бреверн в Иностранной коллегии тайным советником, и, чтоб из них кто был супостат православия, не знает, и злоковарных и вредных Российскому отечеству умышлений никаких от него, Шумахера, не было. Обвинители доставили также Шумахеру самых ревностных союзников в людях, которые прежде были его врагами, именно в профессорах Академии; последние увидали, что обвинения, направленные на Шумахера, еще более направлены на них, из распоряжений Нартова относительно гимназии увидали ясно, к чему дело идет, и сочли необходимым в собственных интересах поддержать Шумахера против Нартова, жаловались в комиссию, что Нартов пишет к ним в форме указов, чего и прежние президенты никогда не делали, и Шумахер такой власти себе не присваивал. Миллер сам признавался, что все эти движения против Нартова в пользу Шумахера делались по его советам, что он писал все представления и просьбы.

Уже 24 декабря 1742 года следственная комиссия доносила императрице, что она никакого важного преступления Шумахера не видит, а потому не соизволит ли ее величество Шумахера из-под ареста освободить и отдать ему шпагу. По отзывам комиссии, доносители не привели ни одного доказательства и требуют, чтоб их допустили до всех дел академических, о которых не доносят, из чего видно, что они только хотят продолжать время, ибо о чем не имеют доносить, то не для чего таких посторонних дел им и требовать. Гридоровального дела подмастерье Поляков в комиссии при генерале Игнатеве, Нартове и Делиле кричал и неучтиво говорил, что у него на допрос Шумахерово доказательство готово, только объявлять не будет и судом комиссии недоволен, секретаря Иванова называл вором, потому что по его, Полякова, доношению по третьему пункту Шумахер не допрашивай о самовольных и беспорядочных расходах, за что комиссия велела заключить Полякова в оковы.

12 марта 1743 года комиссия объявила, что все доносители показывали ложно из злости, не исключая Нартова и Делиля; а что Нартов представлял проект и собственноручное расписание Петра Великого об учреждении Академии рукодельной, то ему надлежало объявить об этом в Сенате или в Кабинете требовать исполнения, но этого до сих пор им не сделано и намерение Петра Великого не осуществлено от него, Нартова, за что он подлежит суду. А Делиль доносит за то, что Шумахер ему жалованья не давал, по. следствию же явилось, что он, Делиль, в конференцию к профессорам не ходил и ничего не сообщал, а на Нартова Шумахер в 742 году Сенатской конторе представлял, что он большую часть своего времени на артиллерийские работы употребил и употребляет, тогда как президент Корф требовал его в Академию Наук для того, чтоб начатый триумфальный столб всем славным баталиям, и акциям, и героическим делам Петра В. окончить, Нартов же, несмотря на многократные ему от Академии Наук напоминания, этого великого и важного дела не только не кончил, но в шесть лет и не начал. Он же, Нартов, с профессором Делилем по вступлении комиссии в следствие архив ученых бумаг и шкафы географического департамента запечатали самовольно безо всякой причины и тем остановили ученые занятия, а профессорам нанесли крайнюю обиду, из чего можно заключить, что Делиль желал на такую славную в свете Академию навлечь бесславие и поношение. Поэтому комиссия полагает профессора Делиля уволить за то, что он в конференцию к профессорам не ходит и никаких изобретений им не сообщает. О советнике же Нартове комиссия передает в высочайшее соизволение, но притом представляет, что он Академию Наук управлять не может, потому что наук не знает, необходимо определить президента, а к нему в помощь советника Шумахера, который этого вполне достоин, к тому же он служит в Академии с самого ее основания, его трудами кунсткамера и библиотека приведены в порядок, а так как в проекте Петра Великого повелено назначить директора и двоих товарищей, то директором быть Шумахеру, а товарищами Ададурову и Тауберту.

Нартов, узнавши о таком донесении комиссии, подал императрице челобитную: "В именном указе велено при разборе и рассмотрении канцелярских дел - все ли по силе указов происходило, равно и в прочих делах - для разъяснения и доказательства всех не порядков и похищения казны быть мне с профессором Делилем, также и доносителям безотлучно; ясно, что требуемые от них изъяснения и доказательства должны быть представлены по наличным делам, а не на память, и если б комиссия поступила по силе именного указа, то разбором запечатанных вещей и академических дел при нас, депутатах, и при доносителях выведены были бы наружу не только показанные в доношениях не правые поступки Шумахера и похищения казны, но и противные интересу вашего величества не порядки. Но комиссия начала не разбором и свидетельством академических дел вместе с нами, а судом, как будто бы это было партикулярное челобитчиково дело. Ныне уведомился я, что комиссия предложила вашему величеству доклад, не объявляя нам, депутатам, не

исследовав подлинно, не допустив доносителей к рассмотрению и свидетельству составленных выписок и экстрактов и к прикладыванию рук, подлинные дела при нас, депутатах, и при доносителях не свидетельствованы, а свидетельствовали и рассматривали их члены комиссии без нас и по требованиям доносителей ничего не объявляли, представляя, что доносители доказательств не имеют, несмотря на то что Шумахер ими обличен и по некоторым пунктам сам винился. Комиссия полагает, будто бы все то делано было не им, Шумахером, а президентами и будто бы он, Шумахер, при президентах воли не имел, несмотря на то, что многие определения им одним креплены, и сам он, Шумахер, в книге "Краткое изъяснение о состоянии Академии Наук" на немецком и русском языках о себе во весь свет объявил, что с самого начала Академии Наук правил канцеляриею и прочими академическими делами, чего без одобрения прав. Сената печатать ему о себе не следовало; да и в той же книге в начале в фигуре у фамы на значке изобразил, будто бы Анна (правительница) совершила то, что Петр I начал; что начало Академии от Петра Великого - это всем известно, а что бывшая принцесса Анна будто бы ее совершила, то он приписал ложно, потому что и до сих пор Академия в несовершенстве: в 19 лет ни одного русского профессора не произведено, а денег истрачено на нее более полумиллиона".

Попов, Горлицкий, Камер, Пухорт и Греков подали также просьбу на высочайшее имя, также жаловались, что комиссия, оставя следствие, начала суд между ними и Шумахером, что они обличили Шумахера в похищении казенного интереса. Они просили освободить их от комиссии и допустить к академическим делам, потому что в этих делах такие скрытные подлоги находятся, которых никто не знающий академических порядков без них разобрать и показать ясно не может. Поляков подал жалобу, что один допросный пункт был в комиссии утаен; он завел об этом спор и отдан под караул по приказанию генерала Игнатьева; когда же он объявил, что судом его превосходительства недоволен, то приехавший в это время в комиссию князь Юсупов называл его плутом и шельмою в противность стоящего на столе зеркала, и когда он, Поляков, объявил, что комиссиею недоволен, то князь Юсупов велел посадить его на цепь как злодея.

Комиссия требовала для Шумахера директорского места, хотя и признала его виновным в растрате казенной собственности; для доносителей его требовала плетей, батогах и ссылки. За Шумахера хлопотал при дворе его приятель профессор Штелин, находившийся в это время наставником при великом князе-наследнике. В декабре 1743 года последовал указ императрицы: Шумахеру быть в Академии у дел по-прежнему, Нартову быть также у прежнего дела, у которого он был до отрешения Шумахера. По свидетельству Ломоносова, "уговорены были с Шумахеровой стороны бездельники из академических нижних служителей, кои от Нартова наказаны были за пьянство, чтоб, улуча государыню где при выезде, упали ей в ноги, жалуясь на Нартова, якобы он заставил терпеть голод без жалованья. Сие они сделали, и государыня по наговоркам Шумахерова

патрона указала Нартова отрешить от канцелярии и быть в ней Шумахеру главным по-прежнему".

Комиссия закрывалась, но все дело было передано на рассмотрение и решение в Сенат. Сенат признал справедливым заключение комиссии о неосновательности доносов на Шумахера в государственных преступлениях, хотя и смягчил наказания для доносителей, но жалоб на академические беспорядки и казнокрадство разбирать не стал, прося императрицу назначить президента, который и должен рассмотреть все эти дела. Императрица велела освободить доносителей от всякого наказания. Из бумаг, оставшихся после знаменитой комиссии об Академии Наук, сохранилась ведомость о колодниках, содержащихся по этой комиссии; имена колодников оканчиваются следующим именем: "адъюнкт Михайла Ломоносов".

Мы уже видели, что в первое пятнадцатилетие существования Академии русский элемент не мог иметь в ней значения. На первом плане были иностранцы более или менее знаменитые; русских было очень немного, и те не выдавались своими дарованиями; виднее других был Тредьяковский, но русские не могли им похвалиться, указывать на него как на своего представителя в науке и литературе. Дела пошли иначе, когда в Академии явился Ломоносов. Нам неизвестно время рождения отца русской науки и литературы: очень может быть, что он и сам с точностью не мог определить этого времени, но нам известно место его рождения: поморская, или беломорская страна пустынная, холодная, но прилегавшая к морю, которое принадлежало Европе, на котором появлялся европейский корабль. Сюда явился очень скоро молодой преобразователь, жаждавший моря; эта страна впервые почувствовала прикосновение его сильной руки. Страна, народонаселение которой давно привыкло к трудной и опасной, развивающей силы деятельности, давно привыкло к тем явлениям, которые стояли теперь на очереди. Сильно потребовались - эта страна наполнилась новым духом, новым движением, кто-то сильный, необыкновенный явился, прошел, оставил неизгладимые следы, поразил воображение, овладел памятью народа. Всюду для людей чутких, исполненных силы слышались слова: "Иди за мной, время наступило!" Под такими впечатлениями богатырского времени новой России воспитывался одаренный великою духовною силою сын холмогорского рыбака. Мать, происходившая из духовного звания, выучила его грамоте, и ребенок страстно схватился за книги, разумеется за книги церковные, кроме того, он достал грамматику Смотрицкого, арифметику Магницкого. Работа с отцом, морские плавания и промыслы укрепляли его физические силы, делали из него богатыря и телом. Богатырь не усидит в отцовском доме; его тянет на подвиг, а подвиг новой, преобразованной России не разминать в степи плечо богатырское, а развивать ум наукою в школе. Семейная обстановка печальна, выживает из дому: матери, первой наставницы, уже нет, вместо нее мачеха, которая, по старому обычаю, "поедом ест" пасынка за то, что он не работает, как следует крестьянскому сыну, корпит над книгами, точно попович.

Богатырь уходит из дому - в Москву, в законоспасские школы. Мужика не приняли бы по уставу; Ломоносов сказался поповичем, метрических свидетельств тогда не спрашивали. Говорят, после Ломоносов признался в обмане вождю "ученой дружины", оставшейся от петровского времени, и Феофан Прокопович обещал ему покровительство.

Новая жизнь встретила богатыря сильными препятствиями и искушениями. После он писал: "Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил, оставил все довольство (по тамошнему состоянию), которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность: имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как за денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и на другие нужды. Таким образом жил я пять лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые в мою там бытность предлагали; с другой стороны, школьники - малые ребята кричат и перстами указывают: смотри-де, какой болван лет в двадцать пришел латине учиться!" Ломоносов, как не имевший дома никакого приготовления в латинском языке, должен был поступить в низшие классы.

Но богатырь преодолел все искушения. Наука овладевала им все сильнее и сильнее; как представитель новой России, он тяготился односторонностью направления спасских школ, не могших удовлетворить его относительно изучения естественных наук, к которым он чувствовал преимущественно призвание. Учителя-малороссияне нахвастали ему, что у них в Киеве эти науки преподаются гораздо лучше. Ломоносов отправился в Киев, но обманулся в своих надеждах. К счастью для Ломоносова, Петр уже прошел перед ним; при каждой новой потребности делали набор способных, сколько-нибудь подготовленных молодых людей и посылали за границу учиться. В 1736 году отправлен был и Ломоносов с двумя товарищами за границу изучить горное дело, но прежде он должен был заняться в Марбургском университете под руководством знаменитого философа Вольфа. В 1739 году студент, занимавшийся, по отзывам Вольфа, с большим успехом математикою, философию и особенно физикою, прислал оду на взятие Хотина, которая составила эпоху в истории русского языка и литературы. То, чего так сильно желали от русских ученых, от российского собрания и не могли дожидаться от известного пииты и переводчика Тредьяковского, именно живой русской речи и сколько-нибудь гармонического стиха, то было получено от студента, занимавшегося за границею горным делом. Для нас в общей истории России вовсе не важно то, в каком отношении находится первая ода Ломоносова к одам знаменитого тогда немецкого поэта Гюнтера; для нас важны известные мысли, взгляды, высказанные автором по поводу

воспеваемого события. Историк спокойно и беспристрастно смотрит и на то, что в известное время, при известном складе и настроении общества замечательное событие порождает торжественную ли оду или ряд газетных статей и брошюр, оценивающих его значение, ибо газетная статья, брошюра и целая книга может также получить характер похвальной оды: для историка всюду, под какую бы то ни было форму, важны мысли и взгляды, взятые автором из общества или данные им обществу. Так, в первой оде Ломоносова нельзя не остановиться на видении, где Петр является вместе с Иоанном IV: "Кругом его из облаков/ Гремящие перуны блещут,/ И, чувствуя приход Петров,/ Дубравы и поля трепещут./ Кто с ним так грозно зрит на юг,/ Одеян страшным громом вокруг?/ Никак смиритель стран казанских?/ Каспийски воды! Он при вас/ Селима гордого потряс,/ Наполнил степь голов поганских./ Герою молвил тут герой:/ Не тщетно я с тобой трудился;/ Не тщетен подвиг мой и твой,/ Чтоб россов целый свет страшился".

В сопоставлении Петра с Грозным сопоставлены новая и древняя Россия, сопоставлены ровно и дружно. Способность автора сопоставить их таким образом основывалась на изучении им русской истории, которое и дало ему твердую почву, устанавливало его навсегда русским человеком. Новый русский человек не увлекся военным торжеством, победами, завоеваниями; он умел понять смысл русской истории, понять цель русских войн, умел выставить борьбу России с азиатским варварством, азиатским хищничеством и следствия торжества России в этой борьбе:

"Казацких поль заднестрский тать/ Разбит, прогнан, как прах развеян,/ Не смеет больше уж топтать/ С пшеницей, где покой насеян;/ Безбедно едет в путь купец/ И видит край волнам пловец,/ Нигде не знал, плывя, препятства.../ Пастух стада гоняет в луг/ И лесом без боязни ходит".

Тут же, в первом самостоятельном произведении сына преобразовательной эпохи, знаменитого труженика и представителя северных земских людей России, встречаем вынесенное из истории и жизни определение русского народа, встречаем стих:

"Где в труд избранный наш народ".

Мы не будем касаться чуждого для нас вопроса о степени поэтического таланта Ломоносова. Мы видим одно, что Ломоносов по своим способностям был преимущественно ученый и этими способностями служил как нельзя более своему времени и своему народу, пробужденному преобразованием к умственной жизни. Любимым занятием Ломоносова были естественные науки, но по силе своих дарований он не мог быть узким специалистом, и русский человек с возбужденною в высшей степени мыслью не мог не быть остановлен страшным недостатком для выражения мысли, результатов знания, необработанностью языка. Русский человек с возбужденною знанием мыслью испытывал самое тяжкое чувство,

чувствовал себя немым. И понятно, почему высокодаровитый русский человек, естествоиспытатель чувствует обязанность, потребность заняться устройством родного языка, без чего успех русских людей в науках был невозможен. Ученые иностранцы были призваны в Россию, и лучшие из них делали свое дело, Академия издала труды своих членов, но что было в этих трудах для русского человека, когда они переводились таким образом: "О силах телу подвиженному в данных и о мере их" (*De viribus corpori moto insitis et illarum mensura*) или "О вцелоприложениях равнения разнственных". Надобно было создавать литературный и научный язык, создавать не указанием только известных его свойств, но умением пользоваться указанным. Первая ода Ломоносова была ученым опытом, примером лучшего, более соответствующего духу русского языка стихосложения, над которым думал Ломоносов и за границу, будучи возбужден "способом к сложению русских стихов" Тредьяковского. Ломоносов вместе с одой прислал в Академию письмо о правилах российского стихотворства, где, сходясь с Тредьяковским в главной мысли о необходимости тонического стихосложения для русского языка, Ломоносов противоречил ему в подробностях. Василий Кириллович немедленно написал ответ и передал его в канцелярию Академии для пересылки Ломоносову; но адъютанты Ададуров и Тауберт представили Шумахеру, чтобы "сего учеными ссорами наполненного письма для пресечения дальних, бесплодных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж денег напрасно не терять". Для современников вопрос заключался не в том, кто первый указал на тоническое стихосложение, но кто писал:

"Воспевай же, лира, песнь сладку,/ Анну то есть благополучну,/ К вящшему всех врагов упадку./ К несчастью в веки тем скучну", - и кто писал: "Шумит с ручьями бор и дол:/ "Победа, Росская победа!"/ Но враг, что от меча ушел,/ Боится собственного следа./ Тогда, увидев бег своих,/ Луна стыдилась сраму их/ И в мрак лице, зардевшись, скрыла./ Летает слава в тьме ночной,/ Звучит во всех землях трубой,/ Коль Росская ужасна сила!"

Первого автора звали Тредьяковским, второго - Ломоносовым. Летом 1741 года Ломоносов возвратился в Россию, уже известный в Петербурге и своею одою, и отличными отзывами некоторых его наставников в Германии, и очень дурными отзывами других, и собственными признаниями в беспорядочном поведении. Подобно великому царю, который начал походы русских людей на Запад за наукою, и Ломоносов должен был явиться здесь и очень хорошим, и очень дурным человеком. У Ломоносова была та же богатырская природа, то же обилие сил; но мы знаем, как любили погулять богатыри, как разнуздывались их силы, не сдержанные воспитанием, границами, которые вырабатывает зрелое, цивилизованное общество для проявления этих личных сил, часто стремящихся нарушить его нравственный строй. Отсутствие благовоспитанности в Петре могло резко броситься в глаза людям из

высшего западного общества, и особенно женщинам, которые и оставили нам отзывы об этой неблаговоспитанности вместе с отзывами о необыкновенных достоинствах царя. Что же касается Ломоносова, то в тех кругах, в которых он находился за границей, его несдержанность, его богатырские замашки могли поражать далеко не всех. Нам тяжело теперь говорить о пороке, которому был подвержен Ломоносов, о тех поступках, которые были следствием его *шумства*; но мы знаем, что современники смотрели на это шумство и беспорядки, от него происходившие, гораздо снисходительнее. Французские писатели середины XVII века с радостью отзываются, что пьянство вывелось у них в высших кругах и предоставлено низшим. Германия, отстававшая в это время от Франции во всех других отношениях, отстала и в этом. Университетская жизнь германская, в которую попал наш Ломоносов, далеко не могла иметь сдерживающего значения для его пылкой природы, а скорее разнудывающее, и Ломоносов в оправдание своих беспорядков имел право указывать на соблазнительное общество. После разных приключений, после женитьбы на дочери марбургского портного, после завербования под хмелем в прусскую службу, из которой спасся бегством, сопряженным с величайшими опасностями, Ломоносов явился в Петербург, когда Шумахер управлял Академией.

Могущественный советник, которого собственная университетская жизнь, как мы знаем, была также не без приключений, встретил Ломоносова не очень сурово, тем более что перед приездом он обратился к нему с почтительным письмом, считая его единственным человеком, от которого зависела его судьба. Очень приятно и выгодно было господину советнику иметь под руками даровитого и покорного русского, который по возвращении в Россию написал две оды - одну на день рождения императора Иоанна, другую - на победу при Вильманстранде, а после восшествия на престол Елисаветы перевел с немецкого торжественную оду Штелина. Приятно и полезно было иметь под руками даровитого русского человека при явно враждебных отношениях к профессорам-немцам, с одной стороны, а с другой - при поднявшихся после восшествия Елисаветы нареканиях, что в Академии проводили только немцев и придавливали русских; покровительствуя Ломоносову, можно было выставить свое усердие к русским интересам и сложить всю вину на ненавистных профессоров. Ломоносов действительно первую неприятность в Академии встретил от профессоров, которые от августа до ноября держали его две ученые работы без одобрения, оставляя его между небом и землей без места и без жалованья; несколько раз просил он конференцию об определении его адъюнктом, и все безуспешно; но когда в начале 1742 года он подал просьбу в канцелярию на высочайшее имя, то советник Шумахер определил его адъюнктом физического класса, и в программе было выставлено: "Михайла Ломоносов, адъюнкт Академии, руководство в физическую географию, чрез Крафта сочиненное, публично толковать будет, а приватно охотникам наставление давать намерен в химии и истории натуральной о рудах, также обучать в стихотворстве и штиле".

Таким образом, с самого начала занятия словесностью становятся рядом с преподаванием естественных наук.

Но скоро наступило смутное время для Академии: борьба между Нартовым и Шумахером, поход против немцев. Время борьбы, раздражительно действуя на всех, особенно сильно действует на таких людей, как Ломоносов, и он пристал к Нартову, пошел в поход против немцев, забушевал. Богатырь новой России сдерживался благоговейным уважением к знанию, уважением к людям, славным в науке; если бы в это время в Академии были "Петром Великим выписанные славные люди", по выражению Ломоносова, то, конечно, он не позволил бы себе выходок против них; но "Россия лишилась великой от них чаемой пользы", они уехали, и уехали, как все говорили, от Шумахера; вместо них были люди, не имевшие авторитета в глазах Ломоносова, и он с ними не поцеремонится, тем более что они держали так долго его диссертации и не давали ему адъюнктского звания, которое он получил прямо от канцелярии. Ломоносов стал бывать шумен, по тогдашнему выражению, а в шуму он был беспокоен. В сентябре 1742 г. на него подал жалобу академический садовник Штурм: "Пришел ко мне в горницу и говорил, какие нечестивые гости у меня сидят, что епанчу его украли, на что ему отвечивал бывший у меня в гостях лекарь Брашке, что ему, Ломоносову, непотребных речей не надлежит говорить при честных людях, за что он его в голову ударил и, схватя болван, на чем парики вешают, и почал всех бить и слуге своему приказывал бить всех до смерти; и выскочив я из окон и почал караул звать; и пришел я назад, застал я гостей своих на улице битых и жену свою прибитую".

Профессора, видя в Ломоносове сообщника Нартова, объявили ему, чтобы он не присутствовал в их конференциях до окончания академического дела в комиссии. Они уже жаловались в комиссию, что Нартов не раз присылал своих сообщников, Ломоносова и других, с великою неучтивостью и шумом мешать им в их занятиях, будто бы для осматривания печатей. В мае 1743 года профессора подали в комиссию новую просьбу: "Сего 1743 года апреля 26 дня пред полуднем он, Ломоносов, напившись пьян, приходил в ту палату, где профессора для конференций заседают и в которой в то время находился профессор Винсгейм и при нем были канцеляристы. Ломоносов, не поздравивши никого и не скинув шляпы, мимо их прошел в географический департамент, где рисуют ландкарты, а идучи около профессорского стола, ругаясь оному профессору, остановился и весьма неприличным образом обесчестил и, крайне поносный знак (кукиш) самым подлым и бесстыдным образом руками против них сделав, пошел в оный географический департамент, в котором находились адъюнкт Трескот и студенты. В том департаменте, где он шляпы также не скинул, поносил он профессора Винсгейма и всех прочих профессоров многими бранными и ругательными словами, называя их плутами и другими скверными словами, чего и писать стыдно. Сверх того, грозил он профессору Винсгейму, ругая его всякою скверною бранью, что

он ему зубы поправит, а советника Шумахера называл вором. Пришел обратно в конференцию и всех профессоров бранил и ворами называл за то, что ему от профессорского собрания отказали". По словам свидетелей, Ломоносов говорил: "Что они себе воображают? Я такой же, и еще лучше их всех, я природный русский!"

Вследствие профессорской жалобы Ломоносова вызвали в комиссию к допросу; но он объявил Юсупову: "Я по-пустому отвечать не буду, и надо мною главную имеет команда Академия, а не комиссия; надобно, чтобы Академия от меня потребовала ответа, и без того в допрос не пойду, и ничего со мною комиссия делать не может". "Сверх того, - сказано в протоколе комиссии, - пред присутствием кричал он, Ломоносов, неучтиво и смеялся". Юсупов и Игнатъев велели его арестовать и содержать под караулом при комиссии. Призванный вторично в комиссию Ломоносов объявил, что без воли Нартова отвечать не смеет. Призвали в третий раз и объявили показание. Нартова, что тот не запрещал ему идти в допрос и теперь не запрещает. Несмотря на то, Ломоносов объявил, что отвечать не будет, потому что это дело судное. Приговорили: держать его под караулом по-прежнему. Ломоносов подал просьбу в Академию: "Содержусь под арестом, отлучен будучи от наук, а особливо от сочинения полезных книг и от чтения публичных лекций. А понеже от сего случая не токмо искренняя моя ревность к наукам в упадок приходит, но и то время, в которое бы я других моим учением пользоваться мог, тратится напрасно, и от меня никакой пользы отечеству не происходит: ибо я, низжайший, нахожусь от сего напрасного нападения в крайнем огорчении. И того ради императорскую Академию Наук покорно прошу, дабы соблаговолено было о моем из-под ареста освобождении для общей пользы отечества старание приложить".

Нартов приложил старание, но понапрасну. Комиссия представила императрице дело в очень неблагоприятном для Ломоносова виде, привела справку из Академии, что Ломоносов и за границу "чинил непорядочные и беспокойные поступки, и оттуда тайным почти образом уехал, да и по приезде сюда, в С. - Петербург, явился в драке и прислан из полиции в Академию". Комиссия не упустила случая сделать выходку и против Нартова: "Да и правление его, Нартова, по Академии за незнанием его не довольное, ибо он не только какой ученый человек и знающий иностранных языков, но с нуждою и по-русски только может имя свое написать". По мнению комиссии, Ломоносова следовало наказать не только за "противные" поступки его в комиссии и Академии, но даже и в немецкой земле. Но 18 января 1744 года Сенат приказал: "Оного адъюнкта Ломоносова для *его* *довольного* *обучения* от наказания свободить, а во объявленных учиненных им продерзостях у профессоров просить ему прощения; а что он такие непристойные поступки учинил в комиссии и в конференции яко в судебных местах, за то давать ему, Ломоносову, жалованья год по нынешнему его окладу половинное; ему же, Ломоносову, в канцелярии Пр. Сената объявить с подпискою, что ежели он впредь в

таковых продерзостях явится, то поступлено с ним будет по указам неотменно".

В указе причиною освобождения было означено "довольное обучение", но довольное обучение Ломоносова могли оценить очень немногие; гораздо большее число русских и сильных людей могло оценить его оды, которые он представлял одну за другою и каких прежде не читывали на русском языке. Эти-то оды, конечно, и были главною причиною освобождения от наказания. В феврале 1742 года Ломоносов написал оду на прибытие из Голштинии великого Петра Федоровича:

"Дивится ныне вся вселенна/
Премудрым вышнего судьбам,/ Что от
напастей злых спасенна/
Россия зрит конец бедам/
И что уже Елисавета/
Златые в ону вводит лета,/ Избавив от
насильных рук./ Красуются Петровы
стены,/ Что к ним его приходит внук".

В конце года Ломоносов написал оду на прибытие Елисаветы,, из Москвы в Петербург после коронации:

"Какой приятный зефир веет/
И нову силу в чувства льет?/
Какая красота яснее,
Что всех умы к себе влечет?/
Мы славу дщери зрим Петровой,
Зарей торжеств светящу новой;/
Благословенна вечна буди,
Вещает ветхий денми к ней,
И все твои с тобою люди,
Что вверил власти я твоей,
Мой образ чтят в тебе народы/
И от меня влиянный дух;/
В бесчисленны промчится роды/
Доброт твоих неложный слух./
Тобой поставлю суд правдивый,
Тобой сотру сердца кичливы,
Тобой я буду злость казнить,
Тобой заслугам мзду дарить!"

В оде, написанной в это время, естественно ожидать указаний на шведские отношения:

"Стокгольм, глубоким сном покрытый,
Проснись, познай Петрову кровь;/
Не жди льстецов своих защиты,
Отринь коварну их любовь;/
Ты всеу солнце почитаешь/
И пред луной себя склоняешь;/
Целуй Елисаветин меч,
Что ты принудил сам извлечь./
Свою полтавску вспомни рану./
Народы, ныне научитесь,
Смотря на страшну гордых казнь,
Союзы разрушать блюдитесь;/
Храните искренно приязнь;/
На множество не уповайте/
И тем небес не раздражайте;/
Мечи, щиты и крепость стен/
Пред божьим гневом гниль и тлен;/
Пред ним и горы исчезают,
Пред ним пучины иссыхают□".

В 1743 году была написана ода на день тезоименитства великого князя Петра Федоровича; в ней находится знаменитая языческая строфа о Петре Великом:

"Возри на труд и громку славу,
Что свет в Петре не ложно чтит;/
Нептун, познав его державу,
С Минервой сильный Марс гласит;/
Он бог, он бог твой был, Россия,
Он члены взял в тебе плотские,
Сошед к тебе от горних

мест;/ Он ныне в вечности сияет,/ На внука весело взирает,/ Среди героев,
выше звезд".

Конечно, известность, приобретенная одами, немало способствовала Ломоносову в получении места профессора химии в 1745 году; посвящение Ломоносовым перевода своего сокращенной экспериментальной физики графу Воронцову указывает на сношения его с этим сильным при дворе человеком. Когда еще дело о производстве не было окончено, Кабинет ее величества затребовал от Академии извещения, секретарь Тредьяковский и адъюнкты Ломоносов произведены в профессора. Производство Ломоносова шло прямым путем чрез Академию: по его просьбе и по представленным сочинениям профессорская конференция решила, что Ломоносов достоин просимого им места, и дело пошло в Сенат. Но Тредьяковский получил место профессора элоквенции мимо Академии.

В марте 1744 года Тредьяковский подал донесение в Сенат: "Поданным от меня доношением в канцелярию Академии Наук прошедшего 1743 года мая 2 дня я предложил: что, обучаяся языкам, также свободным наукам, а наконец, философическим и математическим знаниям, употребил на то 18 лет, сперва в отечестве моем Астрахани, у римских монахов, потом, оставя мое отечество, родителей, дом и всех сродников, чрез краткое токмо время в Москве в Славяно-латинском училище, напоследок в Парижском университете, куда я прибыл своею охотою, не бывши послан ни от кого и, следовательно, с крайним претерпением бедности, и куда дошел я пеш из самого Антверпена, все ж то для снискания наук и с таким намерением, чтоб я мог потом принести отечеству моему некоторую пользу. Что по должном возвращении моем в Россию уведомился я о родителях моих, нескольких кровных и почитай о всех сродниках, что они волею божиею от язвы померли, и отеческое мое наследие за небытностью там моею, как движимое, так и недвижимое, все по рукам растащено, и, следовательно, увидел я себя тогда еще больше бедным для того, что, лишившись родителей моих, лишился не токмо надлежащего пропитания, но и дневные пищи, и, не имея куда приклониться, стал быть совершенно безнадежен. Что почитай в то же самое время, а именно в 1733 году, определен я в Академию Наук от бывшего тогда в ней президента барона Карла фон Кейзерлинга с достоинством академического секретаря и с получением окладного на год жалованья 360 рублей к следующей должности: 1) чтоб мне по возможности стараться о чистом слоге на нашем языке как простым, так и стихотворным сочинением; 2) чтоб давать при Академии лекции, ежели то от меня потребуется; 3) чтоб трудиться совокупно с другими над лексиконом; 4) чтоб переводить с латинского и французского на русский все, что мне дано ни будет.

Чтоб, исполняя назначенную мне должность во всем вышеупомянутом от того времени, ревностно я трудился и многие опыты несколько моея к тому способности уже подал как простым, так и стихотворным сочинением; а российское стихотворение и новым изобретением по званию

академика первый в правильнейший порядок привел и правила печатные издал, которые уже подали искусным людям о совершенстве науки себя страсть, о чем прежде меня никто и не мыслил, довольствуясь только весьма неправильным старинным способом. Что же до перехода, не считая бесчисленных небольших дел, как с латинского и французского на русский, так и с русского сверх должности моей на оба помянутые языка, буде не больше, то не меньше прочих всех при Академии в том я трудился и тружусь поныне, ибо перевел с французского великую книгу, названную родословною историею о татарах, которая для своих примечаний весьма достойна света; перевел также с французского великую книгу графа Марсильи "Военное состояние Оттоманской империи", которая уже напечатана; перевел уже я с французского же и Древняя История чрез Ролена (состоящая в 13 великих томах, которых пользу и красоту довольно и достойно выхвалить и не мне не можно) совершенно три тома, а два еще, с божиею помощью, почитай уже к окончанию приведены, и уповаю скоро их отдать в Академию. Перевел и еще небольшую книгу именем Истинная Политика и напечатал ее своим изданием, положив на то едва не целый год моего жалованья; а сие только для пользы российских читателей; напоследок перевел я ныне недавно с латинского уже небольшую же книгу именем Речи краткие и сильные и поднес его импер. высочеству благоверному великому князю Петру Федоровичу. При сей валовой академической работе трудился я и в бывшем при главном командире бароне фон Корфе российском собрании, приходя с прочими трижды в неделю, над Целлариевым лексиконом и над прочими работами, приличными тому собранию. Также я только один переводил все перечни итальянских комедий и все бывшие тогда интермедии да одну всю итальянскую первую оперу под именем Сила любви и ненависти, которые все напечатаны. Здесь не упоминаю я похвального слова в 1733 году, речи к членам российского собрания в 1735 году, од в разных годах моего сочинения, также многих и переводных с Юнкеровым и Штелиновым, над чем всем много я пролил пота; одно только вспоминаю, что я был, по имянному ее импер. величества указу, и при полномочном французском министре маркизе де ля Шетарди в Москве в 1742 году. Для долговременного моего учения. для употребленного к тому странного способа и великие охоты, для претерпения бедностей, для лишения родителей и всего родительского за науками, для десятилетия при Академии службы, для показанных при ней вышеупомянутых услуг и трудов, для того, что ныне, имея уже жену и содержа бедную сироту, сестру мою родную, вдову и с малолетним ее сыном, не могу содержаться вышеозначенным моим жалованьем, не имея же ниоткуда ни прибавки, ни надежды и приходя уже в лета, впал я в долги, а следовательно, в бедность же и печаль; для всего сего просил я канцелярию Академии Наук благоволить сравнить мое жалованье с жалованьем секретаря Волчкова, который получает по 560 рублей в год".

"Канцелярия Академии Наук не захотела учинить мне сравнения, просимого от меня, так просто, чтоб я еще какой должности на себя не

принял. Я, увидев ее намерение, паки просил ее доношением августа 18 дня прошедшего же 1743 года в такой силе, чтоб благоволить постараться о произведении меня в профессора элоквенции, как латинские, так и российские, и также притом о таком уже мне жаловании, каково получают профессора элоквенции при Академии, а обещался при профессорской должности отправлять еще по-прежнему и переводы книг, понеже в них великая нужда России. По благосклонном принятии оногo моего доношения канцелярии Академии Наук надлежало сообщить того содержание господам профессорам для того токмо, дабы им благоволить меня освидетельствовать, по их должности, в способности к элоквенции, что канцелярия Академии Наук и учинила октября 10 дня прошедшего ж 1743 года. Но господа профессора, вместо чтоб принять меня на свой экзамен, а потом или удостоить меня, или показать к тому мою неспособность, определили письменно ответить и ответствовали того ж октября 17 дня: понеже-де при Академии Наук профессия элоквенции латинской поручена господину Штелину, а профессия-де элоквенции на российском языке от императора Петра Великого не учреждена, и для того-де напрасно старание будет о получении при здешней Академии такого профессорского места".

"Видя загражденный мне путь к профессорству сею их отговоркою, прибег я к мужам весьма больше почтенным, а искусным равно в элоквенции латинской, но в российской совершеннейшим, т. е. к членам св. прав. Синода, и просил их покорнейше освидетельствовать меня в такой силе, имею ли я несколько достатка в элоквенции, как латинской, так и российской. Св. Прав. Синода члены благоволили свидетельствовать меня в том чрез надлежащее время и нашли меня несколько, но довольно искусна в обеих помянутых элоквенциях, а в уверение сего мне дали непостыдный аттестат. Получивши такой аттестат, сообщил я оный при доношении в канцелярию Академии Наук, которым еще просил благоволить прописать все причины, изъясненные в первых моих доношениях, для которых я прошу быть профессором и подать о мне удостоверение с мнением в прав. Сенат, ибо я ныне, получа толь твердое и важное от членов св. прав. Синода засвидетельствование, признаваю себя способным к исправлению должности профессора хотя латинский, хотя российские элоквенции, а профессорскую отговорку отразил в оном доношении целым пунктом следующего содержания: 1) хотя и есть профессор элоквенции латинской, однако надлежит ему быть токмо по то время, пока нет к тому способного человека из российских, ибо сия Академия учреждена в пользу российских людей, как то явствует в прожекте Петра Великого и в указе об Академии Наук 1725 года декабря 25 дня. 2) Так, могут быть два профессора элоквенции, как теперь действительно находятся три профессора астрономии. 3) Хотя и не положена профессия российские элоквенции, да не положена ж и латинская, но токмо положена просто элоквенция, которая не привязана к одному латинскому языку, для того что может состоять на всяком: положено токмо, чтоб всякому профессору курс своей науки издавать на

латинском языке. 4) Ежели бы элоквенция здесь привязана была к одному токмо латинскому, то бы все профессора элоквенции, обретавшиеся здесь, и ныне обретающийся г. Штелин не издавали своих сочинений стихами и прозою на немецком, которого элоквенция так же не положена в прожекте, как и российского. 5) Следовательно, российская элоквенция в здешней Академии еще больше имеет права немецкой для наичастейшего и общего во всей России употребления, и толь больше, что сия Академия учреждена в пользу россиянам. 6) Профессорская должность не в том состоит, чтоб не допускать до профессорской степени российского человека, на которой он может стоять с честью и пользою, но чтоб токмо освидетельствовать, достоин ли претендент того, чего требует, ибо им должно токмо видеть пробу искусства просителя, который наследовать им имеет право по силе прожекта. 7) Для того что господа профессора охотно принимали в 1733 году на свой экзамен переводчика Горлицкого, который также просил быть профессором, и места профессорские все были заняты ж чужеземными, но он сам к ним не пошел, отговариваясь парижским свидетельством, то видно, что меня для того не приняли, что я к ним с радостью сам шел на экзамен, хотя и я также имею парижское свидетельство, ибо ведают те, что им меня не удостоить и трудно, и стыдно, однако надобно было заградить путь российскому человеку как-нибудь, так что, кто к ним нейдет, того принимают, а кто идет, того всячески не хотят. 8) Оный профессорский ответ в канцелярию к непринятию меня на экзамен нисколько, кажется, и не в честь толь ученым и благоразумным людям, для того что он не к делу и некстати, ибо не требовала от них запросом канцелярия, что есть ли профессор элоквенции латинской и положена ли профессия российские элоквенции в прожекте, ведая о том известно; но токмо просила их благоволить освидетельствовать меня в искусстве элоквенции.

И посему, истолковав прямо вышеписаную профессорскую отговорку, не знаю, не будет ли она значить точно сие следующее: хотя Тредиаковский и достоин быть профессором элоквенции, однако он нам не надобен, ибо в почтенную нашу компанию вмешается русской, чего здесь от роду не бывало да и быть не должно, потому что добрый случай определил сей хлеб точно нашим, а он, вмешавшись к нам, может быть, сего хлеба лишить нашего и потому впредь будет лишать кого-нибудь из наших, который еще не выехал сюда, а за ним то ж учинит другой подобный ему и третий, для того что уже мы их несколько видим готовых. Итак, запрем путь сему Тредиаковскому, то потом и прочих отлучать не будет нам труда".

"В такой силе было последнее мое помянутое доношение в канцелярию И. А. Н. от 22 ноября 1743 года. А по силе просьбы, содержащиеся в сем доношении, помянутая канцелярия А. Н. готовила уже доношение с мнением в Прав. Сенат. Но между тем советник Нартов отрешен от помянутые канцелярии, а определен по-прежнему советник Шумахер, которого я многократно просил словесно о произведении моей просьбы в дело. Сей советник многократно ж меня о том и благосклонно обнадеживал, а

иногда говорил мне, советуя, чтоб я и не просился в профессору, ибо имеет он намерение выпросить хороший мне ранг и довольное жалование, а быть бы мне токмо при старом деле, для того что-де России больше в том деле нужды и пользы, нежели хотя бы я был и профессор. Однако напоследок объявил мне генваря 19 дня сего 1744 года, что он ныне не имеет ни времени, ни свободы, и для того буде я желаю, то бы я сам просил Прав. Сенат".

Вследствие этого объявления Тредьяковский и подал просьбу в Сенат - повелеть быть ему профессором элоквенции; если же это за благо не рассудится, пожаловать в ассессоры в Академию Наук с 600 рублей жалования по примеру Ададунова, переведенного из адъюнктов в ассессоры; если и это не будет угодно, то дать майорский ранг по примеру секретаря Иностранной коллегии с окладом профессора элоквенции и быть при прежних должностях, которые все касаются до элоквенции же российской и до переводов, для того что в сем состоит великая нужда и "почитай не нужнее ли еще должности профессора элоквенции".

В приложенном к просьбе аттестате, данном Тредьяковскому синодальными членами, говорилось, что они "предложенные сочинения его виды как российским, так и латинским языком рассмотрели и сим свидетельствуют, что оные его сочинения виды по точным правилам элоквенции произведены, чистыми и избранными словами украшены и по всему тому явно есть, яко он не несколько, но толико произшел в элоквенции, си есть в красноречии российском и латинском, что праведно надлежащее в том искусство приписатися ему долженствует".

Сенат на основании синодального аттестата утвердил Тредьяковского профессором элоквенции; но мы видели, что и об нем был запрос из Кабинета, следовательно, имеем право заключить о ходатайстве сильных лиц. Как бы то ни было, 30 июля 1745 года Тредьяковский и Ломоносов присягнули как профессора Академии в церкви Апостола Андрея на Васильевском острове.

Новый профессор химии не переставал напоминать о себе одами. В том же году он написал оду на бракосочетание великого князя:

"Исполнил бог свои советы/ С желанием Елисаветы:/ Красуйся светло, русский род./ Се паки Петр с Екатериной/ Веселья общего причиной".

В конце следующего года в оде на день восшествия на престол Елисаветы читали, что от русской императрицы вся дает восстановления мира:

"От той Европа ожидает,/ Чтоб в ней восставлен был покой".

В оде на день рождения Елисаветы поэт возвестил, что нет более смертной казни:

"Ты суд и милость сопрягаешь,/ Повинных с кротостью караешь,/ Без гневу злых исправляешь,/ Ты осужденных кровь щадишь".

В конце 1747 года, когда велись окончательные переговоры о движении русских войск на помощь морским державам и когда, несмотря на уверения правительства, что это участие в войне необходимо для ускорения мира, многие думали, что такое участие может иметь следствия противные и завлечь Россию в опасные "дальности", по тогдашнему выражению, Ломоносов пишет знаменитую оду на день восшествия на престол, в которой прославляет мир и его главный плод - процветание наук. Вспомним отношения Ломоносова к противнику воинственного канцлера Воронцову и вспомним, что новый президент Академии, младший Разумовский, не следовал примеру старшего и был другом Воронцову.

Кто из нас в детстве не знал наизусть этих стихов?

"Царей и царств земных отрада,/ Возлюбленная тишина,/ Блаженство сел, градов ограда,/ Коль ты полезна и красна!/ Ужасный чудными делами/ Зиждитель мира искони/ Своими положил судьбами/ Себя прославить в наши дни;/ Послал в Россию Человека,/ Каков неслыхан был от века./ Сквозь все препятства Он вознес/ Главу, победами венчанну,/ Россию, варварством погранну,/ С собой возвысил до небес.../ Тогда божественны науки/ Чрез горы, реки и моря/ В Россию простирали руки,/ К сему Монарху, говоря:/ "Мы с крайним тщанием готовы/ Подать в Российском, роде новы/ Чистейшаго ума плоды"/ Монарх к себе их призывает,/ Уже Россия ожидает/ Полезны видеть их труды./ О вы, которых ожидает/ Отечество от недр своих/ И видеть таковых желает,/ Каких зовет от стран чужих,/ О ваши дни благословенны!/ Дерзайте ныне ободренны/ Раченьем вашим показать,/ Что может собственных Платонов/ И быстрых разумом Невтонов/ Российская земля раждать".

Ода оканчивается обращением к императрице, соответствовавшим тогдашнему положению дел, ожиданию войны, которая могла быть вызвана движением русских войск:

"Тебе, о милости источник,/ О ангел мирных наших лет!/ Всевышний на того помощник,/ Кто гордостью своей дерзнет,/ Завидя нашему покою,/ Против тебя восстать войною".

В конце следующего 1748 года Ломоносов имел возможность прославить восстановление мира в Европе не без содействия России посылкою вспомогательного корпуса. В надписи на иллюминации в день именин императрицы, 5 сентября, он говорил:

"Смущенный бранью мир мирит господь тобой./ Российска тишина пределы превосходит/ И льет избыток свой в окрестные страны:/ Воюет воинство твое против войны,/ Оружие твое Европе мир приводит".

В оде на восшествие на престол Елисаветы Ломоносов говорит:

"Европа утомленна в брани,/ Из пламени подняв главу,/ К тебе свои простерла длани/ Сквозь дым, курение и мглу./ Твоя кротчайшая природа,/ Чем для блаженства смертных рода/ Всевышний наш украсил век,/ Склонилась для ее защиты./ И меч твой, лаврами обвитый,/ Не обнажен войну пресек".

Отъезд императрицы в Москву, испепеленную страшными пожарами, заставил Ломоносова окончить свою оду так:

"Москва едина, на колена/ Упав, перед тобой стоит./ Власы седые простирает,/ Тебя, богиня, ожидает,/ К тебе единой вопия:/ Возри на храмы опаленны,/ Возри на стены разрушенны,/ Я жду щедроты твоя./ Гряди, краснейшая денницы./ Гряди, и светлостью лица,/ И блеском чистой багряницы/ Утешь печальные сердца/ И время возврати златое./ Мы здесь в возлюбленном покое/ К полезным припадем трудам./ Отсутствуя, ты будешь с нами:/ Покрытым орлими крылами,/ Кто смеет прикоснуться нам?/ Но если гордость ослепленна/ Дерзнет на нас воздвигнуть рог;/ Тебе, в женах благословенна,/ Против ея помощник бог./ Он верх небес к тебе преклонит/ И тучи страшные нагонит/ Во сретенье врагам твоим./ Лишь только ополчишься к бою,/ Предъидет ужас пред тобою,/ И следом воскурится дым".

Вспомним, что поездка в Москву была также предметом раздора между двумя партиями; Бестужев не хотел этой поездки; враги его хлопотали, чтоб она состоялась, чего нетрудно им было достигнуть при сильном желании самой императрицы ехать в Москву. Окончание оды если не было внушено Воронцовым с товарищи, то было для них как нельзя кстати; Елисавете она должна была особенно понравиться: она подарила за нее автору 2000 рублей, сумму по тому времени очень значительную.

Возвратимся к академической деятельности Ломоносова. В октябре 1745 года советник Шумахер донес Сенату, что книга, именуемая "Сокращенная экспериментальная физика", переведенная профессором Ломоносовым, в конференции проф. Гмелиным прочтена и усмотрено, что объявленный перевод по большей части довольно хорош, кроме немногих мест, которые профес. Ломоносовым при проф. Гмелине отчасти тогда же исправлены, а отчасти исправление их отложено до будущего печатания, чтоб письменного экземпляра поправками не испортить. Приказали: книгу по исправлению напечатать, а проф. Ломоносову на русском диалекте показывать лекции. Это донесение и распоряжение были сделаны на том основании, что книга не могла быть выпущена без разрешения Сената: в 1743 году послан был указ в Академию Наук, чтоб она немедленно прислала в Сенат по одному экземпляру всех книг, какие были напечатаны с начала Академии, с реестром и впредь, какие будут печататься, также

присылать с означением цен, а прежде взнесения книги в Сенат для народного известия в продажу не употреблять.

В марте 1746 года бил челом Сенату проф. Ломоносов, чтоб ему положено было годовое жалованье по 660 рублей в год, "ибо химическая наука состоит не токмо в одной теории, но и в весьма трудной практике, которая и здравию вредительна бывает". Просьба была исполнена. В июне того же года в Ведомостях читали следующее известие: "Сего июня 20 дня, по определению Академии Наук президента, той же Академии профессор, господин Ломоносов, начал о физике экспериментальной на российском языке публичные лекции читать, причем сверх многочисленного собрания воинских и гражданских разных чинов слушателей и сам господин президент Академии с некоторыми придворными кавалерами и другими знатными персонами присутствовал".

В то время как даровитейший из членов Академии, первый русский ученый, овладевший вполне европейской наукою и создававший для нее язык, собирал в академической аудитории слушателей из разных чинов, воинских и гражданских, Академия дождалась решения своих внутренних распрей. Восстановление Шумахера в прежнем значении, разумеется, не могло прекратить этих распрей, ибо он возвратился с прежними стремлениями, законности которых никак не хотели признать профессора, тем более теперь, когда они думали, что, оказав своею поддержкою великую услугу советнику, имеют право требовать от него перемены поведения в отношении к ним. Другой советник. Нартов, успокоился на решении Сената; у него была деятельность вне Академии: в 1746 году Ведомости извещали, что советник Академии Андрей Нартов пожалован деревнями и знатною денежною суммою за новообретенные дела при артиллерии, чего еще поныне не было. Кроме того, Нартов жил воспоминаниями о великом человеке, подле которого судьба привела его работать в начале поприща, и он записывал эти воспоминания для потомства. Все, что осталось от Петра Великого, было драгоценно для его усердного токаря, и в мае 1747 года он представил в Сенат, что в 1723 году трудами Петра Великого сделаны и имеются в Петропавловском соборе два костяные паникадила и один животворящий крест с апостольскими ликами, также и в Троицком соборе костяное паникадило; а ныне он, усмотрев, что такое великое и премудрое дело многотрудных рук Петра Великого от нападающей пыли чрез долгое время весьма повредилось, отчего столь уже оно не удивления, но сожаления достойно, а понеже древних славных государей, наприм. Александра Великого и прочих, токмо по повелению сделанные куриозные вещи хранятся в кунсткамерах с великим присмотром, то кольми паче вышеозначенные вещи, произведенные собственными премудрыми трудами несравненного в сем свете императора Петра Великого, долженствуется всеми мерами хранить и содержать в великом наблюдении; а по мнению его, надлежит сделать из зеркальных стекол в медных рамках футляры и вызолотить в пристойных местах фигуры, на что нужно 2500 рублей. Сенат велел выдать на первое

время 1000 рублей. В 1748 году Сенат выразился, что "советником Нартовым в зачинке в пушках раковин совершенное искусство оказано, коих пушек починено многое число".

Успокоился Нартов, но не мог успокоиться товарищ его в походе на Шумахера Делиль. Видя, что комиссия взяла решительно сторону Шумахера, Делиль в августе 1743 года подал императрице просьбу об увольнении по следующим побуждениям: возвратившись из Сибирской ученой экспедиции, уведомился он, что президент Академии Корф взял его астрономические наблюдения и отдал молодому профессору Гейнзиусу, который выписан трудиться под надзором его, Делиля. Оскорбленный этим, Делиль перестал бывать в конференциях; Шумахер удержал жалованье его за 1741 и 1742 годы, а комиссия решила удержать все жалованье. Делиля не уволили: как видно, Шетарди вмешался в дело. Только в июне 1745 года императрице был представлен доклад об отпуске Делиля. Но у Делиля кроме Шетарди были русские доброжелатели, которые успели представить ей, как вредно для Академии и для России лишиться знаменитого ученого, вызванного отцом ее. Поэтому при докладе "ея импер. величество в рассуждении, что оный профессор при Академии надобен, указала его склонять, чтоб он здесь еще остался".

При этом уговаривании остаться Делиль прежде всего потребовал выдачи всего заслуженного жалованья и отпуска денег на устройство обсерватории; императрица приказала исполнить эти требования.

Потом в сентябре Делиль подал в Сенат доношение: императрице угодно его оставить, но он может остаться только на следующих условиях: чтоб Академия была таким образом установлена, дабы канцелярия не имела никакой власти над профессорами и над принадлежащими вещами до наук, ниже над академическою экономией; а оное установление можно в действо произвести, давши Академии регламент, по которому бы она на разные департаменты, касающиеся до наук, разделена была и чтоб каждый профессор над приличным ему департаментом главным был и в том никому иному ответ не дал, как только Правительствующему Сенату и профессорскому корпусу, и по регламенту Петра Великого выбрать одного из профессоров в президенты или директоры, который бы беспрерывно в оном чину находился, или попеременно каждый год или полгода, а понеже он, Делиль, из профессоров старший и имеет совершенное известие о всех прочих европейских академиях, для того уповает, что директорское избрание сперва бы ему досталось.

Сенат приказал: о определении президента подать ее импер. величеству доклад и до получения указа, что касается до наук и им принадлежащих вещей, то поручить ведать и смотреть и исправлять обще в собрании всем профессорам, а для того и служителям тех наук быть у них же, профессорам, а канцелярии академической ныне, что до наук принадлежит,

им, профессорам, не тоию какого помешательства, но всякое по их требованиям чинить вспоможение без продолжения времени.

Между тем и остальные профессора выступили в поход против Шумахера.

В июне 1745 года советник получил от профессоров Гмелина, Вейтбрехта, Миллера, Леруа и Рихмана следующее официальное письмо: "Вашему высокоблагородию памятно, что по полученному из прав. Сената прошлого 1744 года июля 10 дня указу о распечатании и ревизии библиотеки и кунсткамеры того ж июля 27 дня в обыкновенный день нашего собрания вы приходили к нам в Академию и о содержании помянутого указа нам в собрании объявили, что указано производить ревизию двумя адъюнктами, назначенными от Академии; и притом ваше высокоблагородие свое мнение предложили, что ревизия очень продолжительна будет, если только двум адъюнктам у того дела быть; к тому же нельзя положиться на адъюнктов, чтоб они во всех науках достаточную опытность имели, чтоб ревизию производить как следует, скорее и исправнее она будет произведена, если при ней будут присутствовать несколько из профессоров, и можно надеяться, что Сенат на это склонится охотно. После совещания об этом каждый из нас охотно на себя принял производить ревизию таких вещей, которые теснее соприкасаются с его науками. Надлежало тогда вашему высокоблагородию нам сообщить подлинный сенатский указ, чтоб нам можно было обсудить, на каком основании нам поступать при ревизии, ибо нельзя думать, что намерение прав. Сената было такое, как ваше высокоблагородие нас изволили удостоверить, а именно чтоб на печатных каталогах основание положить, потому что ревизия наиболее для того и учреждена, дабы известно было, правда ли то, что на вас донесено, будто во время двадцатипятилетнего вашего правления библиотекарской должности и библиотеки и кунсткамеры много унесено и утрачено, а печатные каталоги сочинены в недавних годах и в них внесено только то, что в то время находилось налицо, следовательно, эти каталоги показать не могут, чему в кунсткамере и библиотеке быть надлежит, это может быть усмотрено по самым старым каталогам и счетам, как каждая вещь куплена и в Академию внесена; но так как мы этому делу не судьи и это могло оскорбить ваше высокоблагородие, то мы по справедливости уклонились и рассмотрению правительствующего Сената оставили, изволит ли такую ревизию за достоверную принять, однако ж еще сверх означенного другая причина есть, почему нам очень обидно, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили.

Ревизию окончивши, услышали мы, что по сенатскому указу велено Юстиц-коллегии Мелисину быть при ревизии, которая адъюнктам была приказана. Правител. Сенат, вероятно, рассуждал, что в таком деле, которое вашего высокоблагородия так близко касается, на одних адъюнктов всю надежду положить нельзя, потому что они для угождения вам легко что-нибудь пропустить могут, также адъюнкту неоскорбительно трудиться в чем-нибудь под смотрением какого-нибудь ассессора. Но так как вместо

адъюнктов мы в это дело вступили, то вашему высокоблагородию надлежало с нами поступать не так скрытно. И важного такого обстоятельства от нас не таить. Вам небезызвестно, что профессора при Академиях Наук никогда не ставятся ниже коллежских асессоров, и уже причины не было, зачем господину Мелисину при ревизии присутствовать, ибо надеяться можно, что нам не меньше, как и ему, поверят. Итак, надобно думать, что ваше высокоблагородие сенатский указ от нас утаили для того, во 1) чтобы мы не знали, на каком основании велено сделать ревизию; во 2) дабы к уменьшению чести нашей скрытно нас отдать под надзор асессору юстиции, против чего мы, конечно, протестовали бы, если бы нам о том известно было; однако притом на господина Мелисина жаловаться причины никакой не имеем, потому что он во время ревизии никакой над нами власти не взял. Также мы и того не знали и до сих пор еще очень сомневаемся, что вашему высокоблагородию при ревизии велено главное правление иметь. В сенатском указе написано, чтоб вам при том быть, а чтоб вам над ревизиею дирекцию иметь, того не написано, ибо так как в своем собственном деле никто судьей быть не может, то и думать нельзя, что намерение прав. Сената было вашему высокоблагородию правление такого дела поручить, которое против вас самих гласит: итак, мы больше рассуждаем, что вашему высокоблагородию при том быть велено только для того, чтоб об утраченных вещах ответ дать.

Поэтому нам удивительно кажется, как ваше высокоблагородие случай себе нашли при ревизии так поступать, будто бы она и от вас зависела. Ваше высокоблагородие с г. асессором Мелисином какую-то новую комиссию учредили, в которой вы оба назывались членами, а мы вам подчиненными; вам же довольно известно, что мы ни в наших делах в вашей команде не состоим, ниже при таком чрезвычайном случае вам послушными быть могли; только мы тогда не знали, что труды наши от вашего правления зависят, а как мы теперь о том уведомились и определение видели, которое вы о том с г. асессором Мелисином составили, то мы уже с позволения вашего о том еще упомянем попространнее. Это определение внесено в журнал академической канцелярии о ревизии прошлого 1744 года июля 16 дня, т. е. одиннадцатью днями прежде, как ваше высокоблагородие о том с нами в собрании советовались. Это определение с сделанным в собрании согласно в том, что каждый из нас ревизию на себя принял, только разнится в том, что в вашем канцелярском определении нам будто повелевается от вашего высокоблагородия и от г. асессора Мелисина все то, что мы одиннадцать дней спустя своею охотою на себя приняли, и журналист разве пророческим духом одарен был, что 16 июля мог знать о том, что 27 числа делается. Такими коварствами нам в обиду и чести нашей в повреждение вы величаться хотели. Если правда, что определение написано было уже 16 числа, то для чего ваше высокоблагородие его к нам в собрание не принесли и для чего вы его никому из нас не сообщили? Если бы у вашего высокоблагородия совесть была чиста, то б вы в том не так скрытно поступали. Хотя все пункты этого определения чести нашей весьма

вредны, однако одиннадцатый больше всего подает повод к жалобе: в нем вы надсмотрщиком над нами поставили такого человека, которого мы и в самом малом деле не считаем таким, как вы о нем рассуждаете: речь идет о г. Тауберте. Правда, что по русскому, а отчасти и французскому языкам обучен и в переводах, если постарается, значительное искусство имеет, и он бы мог при Академии служить с пользою, если бы вы его при тех переводах оставили; но, как видно, вашему высокоблагородию этого показалось для него слишком мало. Вы ему, как родственнику своему, титул адъюнкта исходатайствовали, который может быть получен только вследствие занятий науками и их преподаванием; потом вы ему исходатайствовали титул унтер-библиотекаря, дабы ему мало-помалу и библиотекарство и канцелярское правление поручить и таким образом оба чина наследственными в вашей фамилии сделать, а всему свету известно, что для библиотекаря больше требуется знаний, чем г. Тауберт имеет; сверх того, он произведен в адъюнкты и унтер-библиотекари без ведома Академии.

Оттого и происходят такие страшные беспорядки в библиотеке; печатные каталоги свидетельствуют, что нет в Академии человека, который бы мог их составить, как составляются они в других библиотеках. Без труда рассудить можете, что с нашею честью несогласно умолчать о том, что вы изволили нас отдать под надзор г. Тауберта, написавши в определении: что унтер-библиотекарь Тауберт должен смотреть, чтоб все порядочно происходило. И для чего вы определили взять с нас письменный реверс под присягою, что при ревизии честно и совместно поступать будем? ибо во 1) вы не имеете над нами такой власти, чтоб нам это приказывать; 2) в сенатском указе этого и от адъюнктов не требовалось; в 3) ни ваше высокоблагородие того от нас никогда не требовали, в чем и нужды не было, ибо ревность наша и верность и справедливые поступки всякому известны, и никто еще на нас ни в какой погрешности не доносил. Учиненная нам от вашего благородия в этом деле обида так важна, что нам нельзя не требовать удовлетворения, если вы сами не поспешите оказать его нам и тем прекратить наши жалобы. Так как мы ничего более не желаем, как всегда жить с вашим высокоблагородием в покое и согласии, то мы предлагаем вам самый легкий способ, а именно в том же журнале внести новый пункт такого содержания, что в определении 16 июля 1744 года мы, бывшие у ревизии профессора, обижены, будто трудов наших при библиотеке и кунсткамере не было, но что мы все сделали по своей охоте, ревнуя о благополучии Академии по силе состоявшегося в академическом собрании того ж июля 27 дня определения, и что, следовательно, ни ваше высокоблагородие, ни г. ассессор Мелисино, ниже г. Тауберт над нами смотрения никакого не имели; и наконец, что нам это определение не в то время объявлено, но только 7 июня текущего 1745 года, когда мы уже по всеобщему слуху о том известились и от вашего высокоблагородия требовали, чтоб его из канцелярии нам сообщили. А так как ваше высокоблагородие о всем вышеписанном и прав. Сенату от имени Академии Наук представили и не упомянули о нашем определении, состоявшемся в

академическом собрании, донесли, таким образом, этому вышнему суду несправедливо, а нашу честь публично повредили, то и требуем, чтоб ваше высокоблагородие в другом донесении пред прав. Сенатом в своей погрешности повинились и о всем деле донесли справедливо. На этих условиях мы готовы сделанную нам обиду предать забвению, и радостно нам будет, если ваше высокоблагородие соизволите как себя, так и нас избавить от дальнейшего ведения дела, чтоб мы для защиты чести нашей не были принуждены утруждать жалобами вышний суд".

Шумахер не дал никакого ответа, и профессора перенесли дело в Сенат, приложивши к своей просьбе и копию приведенного выше письма своего к Шумахеру. Сенат отвечал указом, что о следствиях учрежденной им ревизии до сих пор от Академии ему не репортовано, и потому *приказали*: при осмотре библиотеки и кунсткамеры быть и профессорам, подавшим жалобу, и о следствиях ревизии репортовать в Сенат чаще; относительно же дела, изложенного в профессорской жалобе, подать ответ немедленно. Шумахер отвечал, что прежний сенатский указ о ревизии был сообщен профессорам, они 4 сентября собрались в канцелярию академическую и по общему согласию назначили время для начатия ревизии. Ассессор Мелисино в назначенный срок в канцелярию явился, но из профессоров не явился никто, а прислали за рукою определенного при конференции писца как бы в поругание канцелярии записку, что советник Шумахер оскорбил их, осмелившись вызвать их в канцелярию, которой они нимало не подчинены, что Шумахер обязан подавать в конференцию профессорскому корпусу присылаемые из Сената указы и прочие тому подобные непристойности. Вследствие чего канцелярия требует оборонить честь ее от таких ругательных поступков и самовольства профессоров и принудить их к надлежащему повиновению. Канцелярия доносила, что Мелисино начал немедленно производить ревизию с двумя адъюнктами, уже всю библиотеку пересмотрел, а теперь ожидает сенатского указа, при ком ему новые каталоги сличать со старыми, ибо профессора к этому сличению не являются.

Это дело довело раздражение с обеих сторон до высшей степени. 28 ноября 1745 года в Сенат явилась новая просьба профессоров: они требовали наказания Шумахеру за нанесенное им поругание доктору Гмелину, просили поручить управление Академиею профессорскому собранию, а Шумахера отрешить. Сенат с нетерпением ждал назначения президента в Академию, чтоб избавиться от этих тяжелых, неудоборешаемых для него дел. Наконец президент был назначен.

У фаворита Алексея Григорьевича Разумовского был младший брат Кирилла. Чтоб сделать молодого человека более достойным того положения, на которое фавор Елисаветы поднял малороссийских мужиков, чтоб дать ему возможность получить серьезное образование, чему в Петербурге было, как видно, много помехи, и дать брату даже средства затмевать и родовитых русских людей, граф Алексей решился отправить

его за границу учиться. Молодой Кирилл получил перед отъездом от брата инструкцию, написанную, по всем вероятностям, известным Ададуриным, которого Алексей Григорьевич приблизил к себе как необходимого по своему образованию человека. В инструкции предписывалось: во-первых, крайнее попечение иметь о истинном и совершенном страхе божии, во всем поступать благочинно и благопристойно и веру православного греческого исповедания, в котором вы родились и воспитаны, непоколебимо и нерушимо содержать, удерживая себя при том от всяких продерзостей, праздности, невоздержания и прочих, честному и добронравному человеку неприличных поступков и пристрастий. А понеже главное и единое токмо намерение при сем вашем отправлении в чужестранные государства состоит в том, чтобы вы себя к вящей службе ее импер. величества по состоянию вашему способным учинили и фамилии бы вашей впредь собою и своими поступками принесли честь и порадование, того ради имеете вы о действительном исполнении оногo намерения прилагать с своей стороны неусыпное попечение и оное за едино токмо средство всего вашего будущего благополучия признавать, оставя все другие рассуждения и пристрастия. Дабы вы, при сем уже довольно созревшем возрасте, пренебреженное поныне время своим прилежанием в учении наградить и оставшуюся еще, по вашим младым летам, в вас способность в собственную вашу пользу употребить могли, что к вашей рекомендации впредь тем наипаче служить имеет.

С Разумовским за границу в качестве наставника отправлен был адъютант Академии Григ. Никол. Теплов. Именным указом повелено было его для дальнейшего и совершенного обучения и усмотрения в чужестранных академиях установленных наилучших порядков и учреждений отправить в Виртембергское княжество в город Тубинг (Тюбинген), а оттуда в Париж, дабы он, возвратись после четырех или пяти лет, при здешней Академии Наук достойным профессором быть мог, и для того определить ему жалованье по 600 рублей на год. Это требование от Теплова, чтоб он присмотрелся к порядкам, существующим в чужестранных академиях, может обнаруживать намерение сделать Кириллу Разумовского президентом Академии, а Теплова помощником ему в этом звании. То же намерение обнаруживается и в долгом неназначении президента, несмотря на нудящую необходимость, выставляемую и самою Академиею, и Сенатом: кого-то ждали. В 1745 году Разумовский возвратился из-за границы и был пожалован в действительные камергеры, а 21 мая 1746 года назначен президентом Академии с жалованьем по 3000 рублей в год. 12 июня Разумовский в первый раз явился в Академию и обратился к профессорам с такими словами: "За необходимо вам объявить нахожу, что собрание ваше такие меры от первого нынешнего случая принять должны, которые бы не одну только славу, но и совершенную пользу в сем пространном государстве производить могли. Вы знаете, что слава одна не может быть столь велика и столь благородна, ежели к ней не присоединена польза. Сего ради Петр Великий как о славе, так и о пользе равномерное

попечение имел, когда первое основание положил сей Академии, соединив оную с университетом". Профессор элоквенции Тредьяковский приветствовал нового президента: "Академия чрез ваше графское сиятельство, оживотворивши все свои члены и в здравие пришедши, как с одра тяжкие болезни восстала. Академия чрез вас, первую российскую свою главу, всеконечно изобрящет всегда действительный способ, дабы исполнить основателя своего намерение - множиться российскими членами, в российских твердо обращаемыми составах".

В речи нового президента было ясно высказано, что из двух целей, указанных Академии ее основателем, одна, именно университетская, учебная, не достигалась, мало было славы, что в Петербурге существует Академия Наук, что произведения ее членов с интересом читаются учеными Западной Европы; государство хотело еще пользы, хотело, чтоб Академия имела не один ученый, но и учебный характер, преимущественно соответствовавший потребностям тогдашней неразвитой России, хотело, чтоб она была университетом, где бы русские молодые люди знакомились с наукою. Таким образом, правительство устами назначенного им президента признавало справедливость упреков, делаемых Академии в продолжение пяти лет, оправдывало Нартова и Делиля с товарищи; разница была в том, что Нартов, Делиль и другие обличители академических беспорядков складывали всю вину их на одного человека, Шумахера, а тепер упрек правительства обращался не к канцелярии, не к ее советнику, а к профессорскому корпусу. Шумахеру как прежде пред комиссию, так и тепер пред новым президентом легко было оправдаться и сложить всю вину на своих врагов - профессоров; конечно, он воспользовался обстоятельствами чрезвычайно для того благоприятными, выставлявшими его деятельность в светлом виде и бросавшими тень на действия профессоров. Укоряли Академию, что она выводит немцев, заграждает путь русским: но кто в этом виноват? Виднее всех по талантам русский профессор Ломоносов, но, в то время как он возвратился из-за границы и профессорская конференция неизвестно почему не хотела признать его прав, Шумахер назначил его адъюнктом. Шумахер присоветовал и почтенному Тредьяковскому обратиться прямо в Сенат с просьбою о профессуре, зная, что профессорская конференция никогда не согласится сделать его профессором; из иностранцев более других трудился для России Миллер, а кто вызвал и провел Миллера, несмотря на открытое сопротивление профессоров? Шумахер. Что ему платили за его благодеяния, за его старания в пользу России и русских черною неблагодарностью, - это его несчастье, но не вина.

Сенат спешил воспользоваться назначением президента в Академию, чтоб сдать ему все дела, все жалобы на Шумахера. Разумовский переслал в Сенат оправдания Шумахера и свое собственное мнение обо всем этом академическом деле, так долго беспокоившем Сенат. Ответы Шумахера на обвинения состояли в том, что канцелярия академическая выдумана не им, но Петр Великий в 1724 году пожаловал его секретарем Академии, а

президент Блюментрост приказал ему набрать переводчиков, писцов и других служителей; если же он в небытность президентов один канцелярскими делами управлял и профессоров не допускал, то делал он так потому, что о допущении их к делам указа не имел. Шумахер не виноват в задержке жалования: и в других командах это часто бывает. Профессорские требования канцелярия исполняла: так, Шумахер поданный Ломоносовым рисунок лаборатории из канцелярии в конференцию послал, требуя от профессоров об нем мнения, но они, приславши рисунок назад, объявили, что они об этом деле высшему месту представили, причем так и осталось; а если б профессора ломоносовский проект одобрили, то канцелярия Академии потребовала бы от Строительной канцелярии, чтоб та построила лабораторию. Он, Шумахер, в посторонние и неизвестные ему дела мешаться не привык; также не помнит, чтоб ему от честных и умных людей такие грубые и неосновательные нарекания когда были; не только студентам, но самим профессорам добрым и полезным советом с охотою служил, когда они его о том просили, а что гимназиею управлял и переводчикам приказывал книги переводить, то делал он по чину и званию своему. Другие умные люди никогда никаким упущением должности его, Шумахера, не упрекали: каталоги академическим книгам с такою возможною исправностью сделаны, что всеми посторонними людьми одобрены, а хотя в них некоторые малые погрешности быть и могут, однако профессора и сами признаться должны, что такое дело без частых поправок в надлежащее совершенство привести невозможно. Так как в комиссии справедливые и разумные судьи заседали, то ей не в пользу советника Шумахера окончиться было невозможно: только советник от этого нимало не воагордился и профессорам никакой обиды не делал. Поданного профессором Миллером проекта для того Сенату не представил, что президенты Академии давно разные определения о российской истории сделали, которые Миллерову проекту противны, и для того он, Шумахер, Миллеру советовал этим делом обождать, пока президент определен будет. Что же на советника показано, что он сочиненной профессором Гмелиным книги о сибирских травах переписывать не велел, и то неправда! Гмелин сам представил для переписки информатора Германа, что по его представлению и сделано; но после того Гмелин в конференции ложно объявил, что так как Шумахер списывать не велит, то не прикажут ли профессора эту книгу Герману переписать; за такую ложь Шумахер Гмелина по справедливости плутом назвал. Советник Шумахер невиновен и в том, что великому князю Петру Федоровичу книгу в четверть листа посвятить был намерен, потому что не в форме или величине, но в доброте книги сила состоит: из этого можно явно видеть, с какою злостью профессора с ним, советником, обходились и такими неправдами облыгать старались. Главное намерение их было его от Академии отрешить, а правление ее к себе в руки взять.

Заключение президента Разумовского состояло в следующем: "От каждого из профессоров я требовал письменно, имеют ли что еще в подтверждение или доказательство своих жалоб, и когда каждый письменно объявил, что

никакого доказательства в улику приносить не может, а некоторые объявили, что и сами того не знали и не разумели, к чему руки свои прикладывали, но делали это больше по научению других, то усмотрел я, что советник Шумахер во всех своих поступках пред профессорами прав и ненависть от них одним только тем заслужил, что по ревности своей к пользе и славе государственной в небытность президентов принуждал профессоров к отправлению их должности и к показыванию действительных трудов, за которые им столь знатное жалованье определено. Когда по вступлении моем в правление академических дел рассмотрены труды профессоров, то нашлось, что некоторые из них больше в убыток государству здесь жили и обманывали командиров, нежели старались произвести пользу в народе; притом не по достоинству своих трудов и знания требовали себе жалованья и к получению его всякие происки употребляли, а как потом строгий над ними надзор учрежден, то главный возбудитель всех ссор и несогласий между профессорами и советником Шумахером бывший при Академии профессор Делиль, видя, что дела академические не по его намерению стали происходить и что ему невозможно уже канцелярию обманывать, взял свой абшид (увольнение). И ежели бы описать все прежние поступки некоторых бывших и некоторых ныне находящихся при Академии профессоров, из которых, однако ж, исключаются добрые и достойные, то бы прав. Сенат мог совершеннее видеть ревность к пользе отечества Российского Шумахеру и леность и нерадение к трудам разных профессоров. И тем подтверждаю, что при нынешнем времени многие в порученных им делах так нерадетельно поступали, что насилу возможно было приискать способ, чтоб их привести в надлежащий порядок, и могу уверить прав. Сенат, что между профессорами многими ничего иначе не усматривается, как желание одно - стараться всегда о прибавке своего жалованья, получить разными происками ранги великие и ничего за то не делать и не быть ни у кого в команде и делать собою что кому вздумается под тем прикрытием, что науки не терпят принуждения, но любят свободу".

Сенат успокоился на этом бездоказательном донесении. Содержание отдельных сказок, поданных профессорами о Шумахере по требованию президента, осталось тайною и для членов Академии, по свидетельству Ломоносова. "Но то ведомо, - прибавляет Ломоносов, - что Шумахер остался по-прежнему в своей воле и вскоре получил большое подкрепление". Профессора Крафт, Гейнзиус, Вильде, Крузиус, Делиль и Гмелин оставили Россию.

24 июля 1747 года издан был регламент Академии Наук и Художеств. В нем говорится, что "по сие время Академия Наук и Художеств плодов и пользы совершенно не произвела по тому только одному, что не положен был регламент и доброе всему определение". Регламент замечателен тем, что хотя и в нем Академия Наук и Художеств и университет соединялись еще в одном учреждении, но разделены обязанности собственно академиков от обязанности преподавателей или профессоров. Академия,

собственно, называется собранием ученых людей. Сии люди не только о том стараются, чтоб собрать все то, что уже в науке известно, но и далее трудятся в изобретениях поступать. Видно посему, что такие люди заняты беспрестанным трудом, чтоб делать свои примечания, читать книги и вновь сочинять их; чего ради им времени мало остается на то, чтоб обучать других публично. И так определяются особливые академики, которые составляют Академию и никого не обучают, кроме приданных им адъюнктов и студентов, и особливые профессеры, которые учить должны в университете. Но ежели нужда востребует и время допустит и академику трудиться в университете, в таком случае отдается на президентское рассуждение, чтоб определить он мог и академика для чтения потребных лекций в университете. Академиков должно быть десять, и Они, собственно, сим именем называются, а не профессоров; и почетных вне государства десять же. Всяк академик иметь должен при себе адъюнкта, который должность имеет помощника академику; и притом стараться должен как академик об адъюнкте, так и адъюнкт сам о себе, чтоб ему со временем заступить академика своего место. Стараться, чтоб адъюнкты были все из русских. Всем управляет и повелевает президент. Он смотреть должен, чтоб всяк везде у своего звания был прилежен и напрасно на него иждивение не было употреблено. Президент имеет совершенную власть выписать или отпустить надлежащим порядком всякого академика. Россия не может еще тем довольствоваться, чтоб только иметь людей ученых, которые уже плоды науками своими приносят, но чтоб всегда на их места заблаговременно поставлять в науках молодых людей, а особливо что за первый случай учреждение академическое не может быть сочинено инако как из иностранных по большей части людей, а впредь должно оно состоять из природных российских; того ради к Академии другая ее часть присоединяется, университет.

Университет есть собрание учащих и учащихся людей. Первые называются профессеры, а другие - студенты. Профессеры не обучают языков, но обучают наук. Того ради студенты должны уже искусны быть в языке латинском, дабы лекции в науках, которых на ином ни на каком языке давать не дозволяется, как токмо на латинском и русском, могли они совершенно разуметь: сего ради надлежит выбрать из училищ российских, где президент за лучшее усмотрит, тридцать учеников, способных и знающих уже латинский язык, и оных определить при Академии, дав им жалованье и квартиру такую, чтоб они все могли быть в одном доме. А чтоб впредь сие число студентов могло всегда наполняться, то учредить гимназию, при которой 20 человек молодых людей содержать на коште академическом, и годных производить в студенты, а негодных отдавать в Академию Художеств; вольных людей принимать свыше сего позволяется, сколько случится, а за науку от учеников ничего не требовать. Принимать в университет из всяких чинов людей смотря по способности, кроме положенных в подушный оклад. Профессеры при начинании такого дела могут быть всякого закона люди, только при вступлении в свою должность присягою обязываться должны, чтоб им ни учением, ни советом о законе

противного православному греческому исповеданию не внушать ничего учащимся. Чего ради духовник быть должен при университете из ученых иеромонахов, который всякую субботу учить должен катехизиса. Науки в университете отправляются следующие: 1) латинский язык; 2) просодия; 3) язык греческий; 4) латинское красноречие; 5) арифметика; 6) рисовать; 7) геометрия и прочие части математики; 8) география, история, генеалогия и геральдика; 9) логика и метафизика; 10) физика теоретическая и экспериментальная; 11) древности и история литеральная; 12) права натуральные и философия практическая или нравоучительная. Президент при себе должен всякие четыре месяца, когда рапорты принимает от академиков, что они сделали и что их адъюнкты и студенты выучили, экзаменовывать учеников в гимназии и студентов в университете. Канцелярия учреждается по указам ее импер. величества, и она есть департамент президенту для управления всего корпуса академического принадлежащий, в которой члены быть должны по несколько искусны в науках и языках, дабы могли разуметь должность всех чинов при Академии и в небытность президента корпусом так, как президент сам управлять, чего ради и в собрании академиков иметь им голос и заседание. Ученым людям и учащимся, кроме наук, ни в какие дела собою не вступать, но о всем представлять канцелярии, которая должна иметь обо всем попечение.

Новый регламент не понравился ученым членам Академии: права канцелярии были подтверждены и, что всего более раздражало, этими правами пользовался по-прежнему Шумахер. Ломоносов так отзывается о новом уставе: "В его расположении и составлении никого, сколько известно, не было из академиков участника. Шумахер подлинно давал сочинителю советы, что из многих его духа признаков, а особливо из утверждения канцелярской великой власти, из выписывания иностранных профессоров, из отнятия надежды профессорам происходить высшие чины несомненно явствует. Многие жалели, что оный регламент и на других языках напечатан и подан случай к невыгодным рассуждениям о Академии и в других государствах". В конце 1747 года в Академии произошел пожар, сгорело здание, где находились библиотека и кунсткамера, но президент донес Сенату, что, сколько в скорости узнать было можно, все нужные вещи благополучно вынесены, только лежат в крайнем беспорядке. Императрица велела под библиотеку и кунсткамеру отдать дом дворян Демидовых впредь до указа.

Ломоносов обвиняет (хотя не непосредственно) Шумахера в этом несчастье: "Для большего уважения канцелярии при такой перемене (регламента) надобно было и место просторнее; прежнее рассудилось быть узко и тесно. Таковых обстоятельств не пропускал Шумахер никогда, чтоб не воспользоваться каким-нибудь образом к утеснению своих соперников. И для того советовал перенести канцелярию в рисовальную и гравировальную палату, а рисовальное дело перебраться в механическую экспедицию, где имел заседание Нартон, который для сего принужден был очистить место, рушить свое заседание, а инструменты и мастерские

разведены по тесным углам. Сие же было причиною академического пожара, ибо во время сей перемены переведены были некоторые мастеровые люди в кунсткамерские палаты, в такие покои, где печи едва ли с начала сего здания были топлены и при переводе тогдашних мастеров либо худо поправлены, или совсем не осмотрены. Сказывают, что близ трубы лежало бревно, кое от топления загорелось. Разные были о сем пожаре рассуждения, говорено и о Герострате; но следствия не произведено никакого. А сторож тех покоев пропал безызвестно, о коем и не было надлежащего иску. Погорело в Академии кроме немалого числа книг и вещей анатомических вся галерея с сибирскими и китайскими вещами, астрономическая обсерватория с инструментами, готторпский большой глобус, оптическая камера со всеми инструментами и старая канцелярия с оставшимися в ней старыми делами. Однако повреждение двору и публике показано весьма малое, и о большом глобусе объявлено, что он только повредился, невзирая на то что оно в целости ничего не осталось, кроме старой его двери. Для лучшего уверения о малом вреде от пожара в Ведомостях описано хождение по кунсткамере некоего странствующего мальтийского кавалера Загромозы, в коем именованы оставшиеся в целости вещи, кои он, Загромоза, видел. Но если б и то объявлено в тех же Ведомостях было, чего уже он в кунсткамере не видал, то бы едва ли меньший реестр из того вышел".

В самое смутное для Академии Наук время, именно в конце 1743 года, Сенат потребовал от нее известия - для надзирания при сочинении истории Петра Великого из ученых достаточный к тому человек имеется ли и кто именно? Академия донесла, что "при ней имеются переводчик Иван Горлицкий, секретарь Василий Тредьяковский и уповательно, что оные в том надзирании способными себя учинить могут". Нашелся в это время для Петра историк незванный и непрощеный. В 1746 году Делиль заявил в профессорской конференции о желании Вольтера быть избранным в почетные члены Петербургской Академии, и желание было исполнено, а в следующем году новый почетный член стал хлопотать чрез Дальона и Разумовского, чтоб ему было поручено писать историю Петра Великого.

Мы видели, что на обязанности Академии Наук лежал перевод и издание нужных для России книг. В конце 1746 года канцелярия Академии Наук донесла Сенату, что переведенная с французского капитаном поручиком Ремезовым Вобанова книга "Об атаке и обороне крепостей" напечатана академическим иждивением, а Ремезову выдано за труд 300 рублей и велено те книги пустить в вольную продажу, но до сих пор и 50 книг не продано, потому что они нужны только людям, занимающимся фортификациею и инженерством, для которых она и напечатана, а хотя о взятии этих книг канцелярия Академии не раз просила письменно артиллерийских командиров, однако до сих пор не берут, и Вобанова книга лежит понапрасну, а употреблено на нее 3560 рублей казенных денег. Прежде в артиллерии напечатаны "Артиллерийския записки С. Реми", за которые артиллерия в Академию деньги заплатила, а книги раздала

офицерам в жалованье. На этом основании канцелярия Академии просила, чтоб велено было Вобановы книги взять в артиллерию и раздать артиллерийским и инженерным офицерам как принадлежащие к их занятиям, а следующие в Академию деньги заплатить: этим академические служители, терпящие нужду от неполучения вовремя жалованья, могли бы быть довольствованы. Сенат согласился. Потом канцелярия Академии донесла Сенату, что секретарь ее Волчков перевел с немецкого и французского на русский язык в разные годы три нравоучительные книги: 1) Наука счастливым быть; 2) Язык; 3) Житие и дела римского консула Цицерона с тремя частями о должности человеческой, и за то его должно наградить, и так как за перевод книги "Об атаке и обороне крепостей" выдано поручику Ремезову 300 рублей, да от Академии Наук за корректурный труд этой книги дано ему 46 экземпляров, да он же. Ремезов, переименован чин, то, по мнению канцелярии, секретарь Волчков против Ремезова большого награждения достоин.

В начале 1748 года Академия объявила: "Понеже многие и российских как дворян, так и других разных чинов людей находятся искусны в чужестранных языках: того ради по указу ее и. в-ства канцелярия Академии Наук чрез сие охотникам объявляет, ежели кто пожелает какую книгу перевести с латинского, французского, немецкого, итальянского, английского или других каких языков, то б явились в канцелярию Академии Наук с тем намерением, что от них сперва будут пробы взяты их переводов, а потом буде найдется их искусство довольно к переводу книг, то дана будет книга для перевода, а как скоро она будет переведена и, переписав начисто, принесена в канцелярию, то за труды оному, по напечатании с его именем, ежели он пожелает, выдано ему будет в подарок сто печатных экземпляров той же книги".

Сенат прислал в Академию поручика Быкова, как знающего китайский язык. Академия донесла, что Быков в манжурском языке искусен и учеников обучать может, но по-китайски может только говорить в просторечии о всяких делах; за великим множеством китайских литер всего вытвердить не мог, поэтому и в переводах будет недостаточен и учеников ему выучить невозможно, а так как при Академии находится с 1741 года прапорщик Рассохин, который китайский и манжурский языки довольно знает, переводить и учеников учить в состоянии, ученики же надобны такие, которые в латинском и французском языках хорошее начало имели, следовательно, двоим учителям при Академии быть не для чего. На основании этого донесения Быкова велено представить к другим делам.

В заключение приведем объявления от академической книжной лавки, из которых видно, какими книгами и за какую цену снабжались читающие русские люди. Публиковалась книга Марка Аврелия по 1 рублю; Истинная Политика с Катоновыми стихами по 35 коп.; Апофегмата - по 25 коп.; Юности честное зеркало - по 15 коп.; Троянская история - по 50 коп.;

География русская и немецкая - по 60 коп.; Основательные примечания на манифест прусского короля против курсаксонского двора - по 30 коп.; Похождение Телемака сына Улисса - по 1 р. 50 коп.

В 1748 год ассессор академической канцелярии Теплов подал Сенату доношение: как для отвращения при Академии казенного убытка (ибо лишние книги гниют), так и для удовольствия всякого чина людей, желающих иметь книги (а из Петербурга по дальности, дороговизне и неудобству не выписывающих), учредить в Москве книгопродавочную палату, в которой имеют быть всякие книги, портреты, ландкарты, календари, российские и немецкие газеты по стольку же, сколько и в петербургской книжной лавке, ибо есть совершенная надежда, что тамошняя продажа не меньше здешней плода приносить будет, и потому требует назначить в Кремле в пристойном месте две палаты. Приказали: Сенатской конторе велеть находящиеся в Москве за Спасскими воротами палаты, в которых и прежде купцом Купреяновым продажа книг производилась, осмотреть и если способны и никому не отданы, то отдать в ведомство канцелярии Академии Наук.

Правительство решительно потребовало университета и гимназии от Академии Наук, но мы видели, что в Петербурге существовало учебное заведение, которое по условиям тогдашней России не могло получить специального военного характера, носило смешанный военно-гражданский характер - Шляхетский кадетский корпус, назначенный для приготовления дворян в военную и гражданскую службы. В 1742 году пред собрание Сената представлены были присланные от Академии Наук кадеты Колошин, князь Цицианов, Ляпунов, Попов, которые в Кадетском корпусе обучались юриспруденции, арифметике и другим наукам и были посланы в Академию Наук для свидетельства. Профессора этой Академии в аттестатах показали, что князь Цицианов, Ляпунов и Попов во всей юриспруденции, универсальной истории и географии нарочито упражнялись, по-немецки совершенно говорят и во французском и латинском языках доброе познание получили, в арифметике и геометрии нарочито искусны, а Колошин в натуральном и гражданском праве несколько упражнялся, в универсальной истории, географии, арифметике нарочитое искусство показал, по-немецки хорошо говорит и обратно с него на российский переводит. Сенат приказал определить этих кадет к правлению секретарской должности: Колошина в Юстиц-коллегию, Цицианова и Ляпунова в Вотчинную, Попова в Судный приказ. Любопытно, что Кадетский корпус находил русских людей, которые могли преподавать науки на иностранных языках, даже учить немецкому языку, и учить так, что Академия Наук признавала в их учениках совершенное знание этого языка. После фельдмаршала Миниха корпус перешел в заведование принца гессен-гомбургского, а преемником принца был князь Репнин, который в начале 1747 года донес Сенату, что велено в корпусе преподавать фортификацию и русским кадетам преподавали капитан-поручик Ремезов и поручик Панов, а иноземцам - инженер-поручик

Чернцов. Ремезов умер, и по усмотрению штаб-офицеров корпуса оказалось, что того же корпуса служитель Мошков по особенно ревностным занятиям в этой науке и искусству в состоянии преподавать, и потому Репнин по примеру учителя немецкого языка в корпусе поручика Брыкина просил произвести Мошкова в поручики и назначить преподавателем фортификации. Сенат согласился.

И в Кадетском корпусе в малых размерах происходила борьба вроде той, какую мы видели в Академии Наук, и Сенат должен был решить распрю между преподавателем и канцеляриею. Немецкий ученый Флюг заключил с канцеляриею корпуса контракт на три года с обязанностью быть адъюнктом юриспруденции и обучать натуральному и гражданскому правам, также стилю немецкого языка с жалованием по 300 рублей в год, с квартирою и лечением. Обучал он с 1746 по 1748 год кроме упомянутых наук еще логике и нравоучительной философии, и Академия Наук дала хороший отзыв о его учениках. Но потом инспектор классов в корпусе юстиц-советник фон Сиггейм стал требовать от него преподавания латинского языка; старший класс он принял, но от младшего отказался, представляя, что по штату не адъюнкту юриспруденции, но дьякону велено помогать в обучении латинскому языку. Тогда Сиггейм представил в канцелярию, что Флюгу при Кадетском корпусе никакого дела нет, а поллатыни он учить не хочет. Первоприсутствующий в канцелярии полковник Сиггейм, брат инспектора, сказал Флюгу, что если он не примет обоих классов латинского языка, то должен просить увольнения, а если не будет просить, то уволят и без просьбы. Флюг отвечал, что он контракта нарушать не хочет, но пусть укомплектуют его настоящие классы юриспруденции или дадут ему доучивать оставшихся у него учеников; на это полковник сказал, что не знающими латинского языка укомплектовывать нельзя; Флюг возражал, что философские науки преподаются в корпусе не на латинском, а на немецком языке и что есть кадеты, которые уже четыре года обучаются латинскому языку и к философским наукам приготовлены. Несмотря на это, у Флюга отняли и последние классы немецкого стиля и уволили из службы. Флюг подал жалобу в Сенат, который потребовал объяснения от канцелярии корпуса. Та отвечала, что все учившиеся юриспруденции кадеты выпущены, потому Флюгу и было предложено, не хочет ли он занять латинский класс, но он отказался и потому уволен, а в немецком штиле он не весьма искусен, и потому от него ученики взяты и переведены к другим учителям. Но Сенат сильно хлопотал о том, чтоб в Кадетском корпусе постоянно 24 человека обучались юриспруденции по надобности в них для гражданской службы. Недавно перед тем генерал-прокурор представил о необходимости накрепчайше подтвердить канцелярии кадетского корпуса, чтоб 24 кадета, обучающиеся юриспруденции, впредь в военные экзерциции отнюдь употребляемы не были. И вдруг Сенат узнает из донесения самой канцелярии, что таких кадет вовсе нет! Поэтому приказали: Флюга оставить в корпусе для преподавания философии и юриспруденции, ибо всегда в корпусе должны этим наукам обучаться 24 русских кадета; кроме

того, канцелярия корпуса не исполнила контракта, в котором сказано, что если Флюг не будет надобен, то объявить ему об увольнении за полгода.

В Петербурге существовало высшее специальное учебное заведение - Морская Академия. В 1739 году профессор этой Академии Фарфонсон, обучавший арифметике, геометрии, навигации, астрономии, географии и геодезии, умер; вызывали на его место англичан, те просили по 500 фунтов жалованья и обязывались быть в службе не более 5 лет. В 1745 году математических и навигационных наук учитель Кривов да подмастерья Четвериков, Костюрин и другие объявили, что такие английские профессора в такое короткое время Морской Академии никакой пользы не принесут по незнанию русского языка, а учениками - английского, да и переводчиков сыскать нельзя, знающих математические и навигационные термины, а мореплавание особенно сильно у англичан и книги по этой части больше на английском языке, которых и в Морской Академии немало и будут лежать без употребления за неимением переводчиков: поэтому Кривов и подмастерья просят, чтоб приказано было, наградя их рангом, послать их нынешним летом в Лондон на три года для обучения английскому языку, а как обучат, то и без английского профессора при Академии можно будет справиться, потому что они будут книги переводить и учеников обучать. Адмиралтейс-коллегия представила эту просьбу Сенату, который приказал: Кривова, Четверикова и Костюрина отпустить в Англию с жалованьем по 400 рублей в год да на подъем выдать по 100 рублей.

В 1745 году в московской артиллерийской школе было сверх комплекта учеников дворян и недворян 128 человек, в инженерной - 45 и в артиллерийской школе некоторым сверхкомплектным ученикам по указу 1732 года давалось на пропитание по одному четверику муки да по 30 копеек денег. Теперь Сенат приказал: Артиллерийской конторе разобрать школьников и из них годных определить в службу в число артиллерийского и инженерного штата: они могут и будучи в службе оканчивать свои науки; также способных к науке из шляхетства и детей артиллерийских служителей комплектное число оставить в школе, а из разночинцев и солдатских детей отослать в гарнизонную школу, потому что в артиллерийскую школу, кроме дворян, никого и определять не следовало; если затем сверх комплекта явятся из шляхетства таких присылать к рассмотрению в Герольдмейстерскую контору.

Мы видели, что при госпитале в Москве находилась медицинская школа. В 1748 году госпитальный доктор Блюментрост жаловался Сенату, что из Славяно-греко-латинской академии в госпитальную школу прислано только 8 человек, ибо там разночинских детей более нет, а из священно - и церковнослужительских детей отпускать не велено. Этих 8 мальчиков Блюментрост экзаменовал, и оказались негодны, также в латинском языке неискусны: давал он им переводить самое легкое, и ни один не умел, следовательно, ни один не в состоянии понимать его лекции или какого-

нибудь легкого автора о медицине и хирургии; однако по нужде и этих 8 человек приняли. Сенат приказал сообщить в Синод ведение: хотя св. Синод и определил, чтоб в госпиталь не отпускать священнических и причетнических детей, ибо они обучаются в пользу священства, а отсылать разночинских детей, но так как теперь в Спасской греко-латинской школе разночинских детей нет, то благоволит Синод потребное число учеников отослать хотя и из церковнических детей, которые к тому собственную охоту и натуральную склонность имеют, ибо в учениках медико-хирургической науки состоит крайняя надобность, а в церковнослужителях от такого малого числа недостатка быть не может.

Не надеясь, что из Спасской академии будет присылаться достаточное количество учеников. Сенат в то же время послал запрос в Медицинскую канцелярию: не лучше ли будет при госпитале содержать учителя для обучения начальных госпитальных служителей, также и разночинских детей, которые бы могли быть по обучении определены в медицинские чины. Медицинская контора отвечала, что иметь в госпитале латинского учителя очень надобно; в петербургских и кронштадских госпиталях есть студии для обучения подлекарей и учеников латинскому языку, и в московском госпитале был да умер, а на его место нельзя определить, потому что Синодальное экономическое правление жалованья не дает.

Тесное сближение России с Западною Европою во время войны за австрийское наследство, важное значение, приобретенное Россиею в это время, когда столица русской государыни становилась ареною дипломатической борьбы, когда приобрести союз или даже настоять на нейтралитете России считалось важным дипломатическим торжеством, заставляли русских людей, желавших достигнуть высокого положения, приобретать европейские средства, приобретать образование, чтобы достойно держать себя среди министров иностранных. Вследствие переворота 25 ноября немцы, стоявшие наверху, попадали, высшее правительство очутилось в русских руках, но иностранцы толковали, что этот переворот будет гибелен для России. Русские по своей необразованности, не умея вести дела, погубят то, что было создано искусным немцем Остерманом, или принуждены будут возвратить его из ссылки. Новое поколение русских людей, выведенное Елисаветою наверх, должно было постараться уничтожить мнение, что без помощи иностранцев Россия не может быть управляема, не может поддержать своего значения, данного ей отцом Елисаветы, а необходимое средство для этого было образование. Алексей Разумовский посылает молодого брата своего учиться за границу; вице-канцлер граф Воронцов едет за границу как для поправления здоровья, так и для образования; молодой Иван Шувалов в образовании, в сближении с учеными, писателями готовит себе знаменитое место в истории русского просвещения. Немцы с презрением относились о необразованности русских, но когда русские в поисках за образованностью внимательнее посмотрели на Европу, то увидели, что сами немцы, столь гордые своим учительским характером в России, у себя

дома рабски подчиняются влиянию французскому. Отсюда понятно, что русские люди непосредственно обращаются ко Франции, к ее языку, к ее литературе. Граф Воронцов прислал из Берлина гувернантку-француженку для детей брата своего Романа Ларионовича, и сын Романа Ларионовича Александр так говорит о своем воспитании: "Мы нечувствительно выучились по-французски. Я должен сказать, что воспитание, нам данное, не отличавшееся блеском и не стоившее огромных издержек нынешнего воспитания, имело, однако, в себе много хорошего: во-первых, нас учили по-русски, чего теперь не делают. При дворе два раза в неделю давались французские представления; отец возил нас туда.

Я упоминаю об этом обстоятельстве, потому что оно с самого раннего детства содействовало развитию в нас решительной склонности к чтению и литературе. Отец выписал из Голландии библиотеку, довольно хорошо составленную, где были лучшие авторы и поэты французские и книги исторические, так что 12 лет я уже был хорошо знаком с Вольтером, Расином, Корнелем, Буало и другими французскими писателями".

В заключение скажем о состоянии искусства в России в описываемое время. В 1743 году встречаем известие, что живописцу Ивану Вешнякову за написание для Сената портрета императрицы выдано 200 рублей по примеру живописца Линдина, писавшего портрет императрицы Анны. В том же году императрица велела послать свои портреты ко всем русским министрам при иностранных дворах; написать их было поручено придворному живописцу полковнику Каравачу, который за 14 портретов, написанных двумя кунштами, взял 1200 рублей. В 1747 году призван был пред собрание Сената живописный мастер Иван Вешняков и объявлено ему, чтоб он скопировал портрет императрицы Екатерины Алексеевны с вывезенного из немецких краев и находящегося у вице-канцлера графа Воронцова. Вешняков принял поручение, причем ему подтверждено, чтоб он копию снял, с оригиналом сходную, стоячую и платье изобразил по приличности. И за этот портрет он получил 200 рублей. В 1748 году Вешнякову в Петербурге, а в Москве находившемуся при Оружейной палате живописному мастеру Адольскому поручено было смотреть, чтоб портреты императрицы, великого князя и великой княгини писаны и деланы были искусным мастерством. В том же году Вешняков объявил, что велено ему находившийся в Сенате старый портрет Петра Великого исправить, и он исправил его весь вновь с прибавкою длины и ширины против портрета ее величества; его наградили за это 50 рублями.

В 1745 году обер-архитектор граф Растрелли объявил Сенату, что он выливает из меди портрет Петра Великого, сидящего на коне. Упоминается и другой архитектор - Бланк, также Осип и Петр Трезины. В 1747 году академический мастер Иван Соколов вырезал на меди портрет императрицы который и был ею одобрен.